

М. ОЛЬМИНСКИЙ  
/ М. АЛЕКСАНДРОВ /

# В ТЮРЬМЕ





*М. Ольминский  
(М. АЛЕКСАНДРОВ)*

---

---

# **В ТЮРЬМЕ**

---

---

(1896 ~ 1898 гг.)



---

*Издательство ЦК ВЛКСМ  
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“  
Москва · 1956*

## М. С. ОЛЬМИНСКИЙ

С именем автора этой книги М. С. Ольминского связаны многие страницы революционной борьбы и строительства новой жизни.

Как сейчас, вижу перед собой взволнованный румянец лица Михаила Степановича, оттененный его сединами, глубоко посаженные глаза поблескивают по-молодому, а слова идут размеренно и стройно, они метки... Запиши — и получится статья, полемическая и острая. Таким я запомнил его по тем бурным совещаниям и конференциям, посвященным вопросам литературы, которых так много было в 1922—1925 годах.

Особенная прелесть была в его рассказах о том героическом времени, когда самые смелые и честные люди нашей Родины сплотились вокруг Ленина для самоотверженной борьбы за счастье народа.

Это было трудное время. В результате грязных интриг и манипуляций меньшевики, внутренние враги в социал-демократической партии, после II партийного съезда захватили центральный орган партии — боевую газету «Искра», а затем и самый Центральный Комитет. В руках меньшевиков центральные учреждения партии превратились в тормоз революционного движения.

Казалось, что гибнет все, созданное Лениным за первое десятилетие его деятельности. Но это только казалось. Непрерывная пропаганда революционного марксизма, которую вел Ленин в эти годы, неустанная деятельность по организационному сплочению партии самоотверженных сторонников Ленина в России не пропали даром. И едва Владимир Ильич, вынужденный уйти из редакции «Искры» и потерявший поддержку Центрального Комитета, поднял свой голос, разоблачая партийных отступников, как все, что было в партии честного и по-настоящему революционного, словно магнитом, притянуло к нему. Это были первые большевики, люди, сознательно разобравшиеся в суще-

стве разногласий на II съезде партии и решительно принявшие сторону Ленина. Медлить нельзя было, 1904 год шел к концу, близость революции ощущалась явственно, и Владимир Ильич вместе со своими друзьями создал новую газету. Громадное большинство русских комитетов партии, выразивших недоверие, меньшевистской редакции «Искры», а потом и Центральному Комитету и поставивших своей целью созыв III партийного съезда, объявило новую газету своим органом.

Тут-то, на страницах этого боевого органа, рядом со статьями Ленина появились имена его единомышленников и помощников и среди них — имя Михаила Степановича Ольминского-Александрова, одного из представителей этого замечательного поколения — первого поколения большевиков.

В то время Михаил Степанович избрал себе псевдоним «Галерка». Самое возникновение этого псевдонима уже внушает симпатию к человеку, его избравшему. Анатолий Васильевич Луначарский, в тот период активный сотрудник и член редакционной газеты «Вперед», рассказывает: «Мартов как-то презрительно назвал едких и несдержанных на слово публицистов, окружавших Ленина после раскола и создавших его штаб журналистики, — «галеркой». Ольминский с удовольствием подхватил эту презрительную кличку. В самом деле, что может быть более славного для пролетарского писателя, как такая кличка. Пролетарии и искренне преданные им идеологи никогда ведь не сидели в первых рядах партера и в ложах бенуара» (А. С. Луначарский. Критика и критики. Гос. изд. художественной литературы, 1938 г., стр. 263).

Галерка не просто высмеивал своих противников, писал о нем П. Н. Лепешинский, он своими шуточными, на первый взгляд карикатурными набросками на самом деле в очень популярной форме оповещал широкие круги партии о перипетиях фракционной борьбы, о меньшевистских махинациях, о существовании спорных вопросов, а это по тогдашнему времени было не маловажное дело, если принять во внимание растерянность, неразбериху на местах, являвшиеся следствием монопольного распоряжения меньшевиками новой «Искрой».

Таков Галерка, застрельщик в славной борьбе газеты «Вперед» за укрепление большевистской партии, сподвижник Ленина в этом великом деле.

Пройдя сразу же по вступлении в партию школу великого Ленина, Ольминский с тех пор был всегда на передовых постах партии. Нельзя писать историю большевистской печати, не помня добром имя М. С. Ольминского. После газеты «Вперед» он член редколлегии газеты «Пролетарий», потом «Новой жизни», «Вестника жизни» и ряда других большевистских газет первых лет революции. В 1911—1913 годах Михаил Степанович активно участвует в газетах «Звезда» и «Правда» и в журнале «Просвещение».

Мы знаем М. С. Ольминского и как автора ряда острых и оригинальных литературно-критических работ. А предлагаемое вниманию читателя произведение свидетельствует о его несо-

менном художественном даровании. Можно предполагать, что именно это литературное дарование и не угасавший всю жизнь интерес к художественной литературе и определили дружеское внимание М. С. Ольминского к творчеству молодых писателей-коммунистов. Он охотно работал членом редколлегии тех журналов, вокруг которых группировалась литературная молодежь; несмотря на свой уже преклонный возраст, не отказывался от черновой редакционной работы и с охотой посещал наши совещания и конференции того времени. Мне памятен его страстные выступления, звавшие нас учиться у классиков великой русской литературы. Хорошо помню выражение его лица, ясное и доброе. Это была деятельная доброта революционера, то чувство, которое и толкнуло шестнадцатилетнего юношу на борьбу за угнетенных и эксплуатируемых.

Еще будучи студентом Петербургского университета, он вел пропаганду среди рабочих, придерживаясь распространенных в то раннее время (в восьмидесятых годах прошлого столетия) народовольческих взглядов, за что был несколько раз арестован. Пропаганда марксистских идей в России в девяностых годах, близость его к рабочим оказали действие и на Михаила Степановича. Есть предположение, что еще до своего трехлетнего тюремного заключения в Крестах Михаил Степанович установил связь с Владимиром Ильичем Лениным. Однако условия царской цензуры не дали ему возможности сказать в этой книге, написанной до революции, о своей связи с В. И. Лениным, которая — можно предполагать — осуществлялась через посредство Можаровской, тюремной невесты Михаила Степановича. Таким образом, мы можем только косвенно судить о той громадной работе над своим мировоззрением, которую проделал именно в этот период застрашенный сподвижник Ленина, будущий Галерка.

Книга «В тюрьме» дает ясное представление о нравственной и моральной закалке, которую проходили в тюремном заключении люди, подобные Михаилу Степановичу Ольминскому. Она раскрывает перед нами душу революционера, мир его чувств и волнений, захватывающий ход его борьбы за свою личность, сохранение ее для будущей борьбы. Эта книга принадлежит к числу тех литературных произведений, которые, казалось бы, сама жизнь исторгает из души человека, раньше даже, может быть, и не подозревавшего у себя писательского дарования.

Выванный из борьбы, попавший в плен к врагам, ставший объектом их расправы, пленный революционер принял одиночную тюрьму как продолжение той борьбы, которую он вел на свободе. Сражение продолжалось три года и в конце концов окончилось победой революционера.

Только выйдя из тюремной кареты, еще не переступив порога тюрьмы, ему приходится начинать сражение. Конвой обратился к нему на «ты».

«— Обожди!

— Не обожди, а обождите!

— Все равно».

И конвой получает в ответ:

«Вовсе не все равно. Вы унтер-офицер, а не знаете своих обязанностей. Я сейчас буду жаловаться начальнику тюрьмы».

Нахал конвоир переходит на «вы».

Такова первая победа. С высоко поднятой головой входит революционер в царскую тюрьму, — он безоружен, он одинок, он в руках своих врагов, но он дал понять, что не прекратил своей борьбы. Сражаться нужно каждый час, каждую минуту, отстаивая свою личность революционера от унижений и надругательств.

Так идут тюремные дни. Мы с волнением и глубоким сочувствием следим за тем, как происходит нравственное закрепление позиций. Уступи хоть в мелочи, хоть на секунду — и тебя сомнут и сотрут в пыль. И все же по сравнению с тем, что предстоит заключенному, эти мелкие победы являются стычками на авангардных позициях. Главное сражение впереди. Предстоят три года одиночного заключения, три года, «не выходя из тесных рамок тюремного режима, ни разу не имея случая перекинуться словом с товарищами, ни с кем не имея общих интересов, не имея никакой осмысленной работы и никакой цели, кроме одной — изжить эти три года, наконец отдавая все время принудительному, бессмысленному, отупляющему труду, — удастся ли перенести все это? Сколько людей умерло здесь, не дождавшись окончания срока! Сколько сошло с ума!» (стр. 14).

Революционер сознает всю серьезность испытания, которое ему предстоит, и начинает сражение, тихое, почти безмолвное, лишённое внешних драматических подробностей. Первая задача: нужно в этих, казалось бы, совсем лишенных жизненной почвы условиях каменного мешка пустить тончайшие корневые нити, отыскать первые предпосылки жизненной деятельности.

Главным средством разложения, обезличения, доведения заключенного до сумасшествия является мертвое однообразие тюремного распорядка. И для того чтобы бороться с этим распорядком и противостоять ему, годятся даже ничтожные впечатления, которые на воле, конечно, не привлекли бы внимания такого деятельного человека, как М. С. Ольминский.

И сознание заключенного борется прежде всего за то, чтобы освоить ту страшную пропасть времени, которая его отделяет от свободы, — борьбу с громадой дней предстоящего заключения, все давящих и давящих на душу. Надо прежде всего и безбоязненно взглянуть в глаза правде: «Прошло уже шестьдесят семь дней... Когда представляешь себе только дни, то остающиеся тысяча двадцать девять дней не кажутся слишком большим сроком; но когда вспомнишь, что они составят три лета, три осени, три зимы и две весны, то продолжительность срока начинает давить». И заключенный резюмирует: «Изжить время — это главная тюремная работа» (стр. 32).

Вот узник анализирует различные виды борьбы со временем, все способы изжития его. «Легкая беллетристика (речь идет о бульварном романе) — наркотический яд. После нее — опустошение сознания, и одиночество чувствуется еще сильнее» (стр. 102). А ведь сознание — единственное оружие пленного ре-

волюционера, которое у него не отнимешь. И вот он ищет и находит могучее средство обезопасить себя от вредных мечтаний: он наизусть читает стихи, созвучные его взглядам, его настроениям. Особенно хороши стихи Лермонтова; «горечь и злость — эти чувства так хорошо знакомы арестанту, так близки его душе!» Он позторяет монолог Алеко из «Цыган» Пушкина:

...Нет, я не споря  
От прав моих не откажусь!  
Или хоть мщеньем наслажусь!

Миновала зима, пришла весна, в камере открыли окно, в нее хлынул свежий воздух, доносятся звуки жизни, но вместе с ними в камеру хлынули фантазии вплоть до приобретения фантастической шапки-невидимки. А это уже опасно, надо опять брать себя в руки. Так идет борьба за остроту своего восприятия, за активность и реальность своего сознания. И мы видим, что тюрьма не в состоянии отнять у революционера его единственное, но остреее оружие — его сознание, его волю!

Дым из фабричных труб, безостановочно льющийся к небу, дает возможность сделать множество наблюдений. «Черным дыханием» называет его заключенный и вспоминает о бесконечных рядах деревянных крестов столичной бедноты на Волковом кладбище. Но вдруг черное дыхание прекратилось, и заключенный понимает: это забастовка. Один из тюремщиков, преисполненный сочувствия к заключенному, подтверждает догадку. «Сквозь камни и железо проникали в тюрьму вести о великом. И дрожало сердце».

Черные трубы снова стали дымить, потом наступает зима, окна забили, но ведь черное дыхание «вешало мне близость революции!» — восклицает рыцарь революции, непобедимый солдат ее.

И снова борьба. Она дается нелегко. Вот мы видим, как узник занялся умственной работой, — впоследствии эта работа выльется в оригинальное литературное исследование, так называемый «Щедринский словарь». Михаил Степанович поглощен работой, она соответствует его взглядам, его вкусам, она является подготовкой к будущей борьбе; но тут вдруг начинает раздражать скрип пера. «Чернильница была широкая, низкая; перо обязательно скользнет по стеклу и режет по сердцу». Это проявление тюремной неврастении. Ну что ж, нужно заменить Пузырьком, чаще менять перо, забивать уши ватой. Неврастения все увеличивается. Начинает раздражать шарканье ног при гулянии. Михаил Степанович отказывается от совместной прогулки, переходит на положение «слабого здоровьем». Враг страшен: «ведь помешательство в здешней тюрьме — самое обычное дело». Враг страшен, но складывать оружие нельзя. С помощью сложнейших ухищрений удастся наладить в тюрьме нечто вроде цветоводства и огородничества. Тюремщики отнимают у заключенного цветы. Тогда на помощь себе он призывает голубей и воробьев. Страницу за страницей читаем мы микроскопически детальные и забавные подробности поведения и характера двух



этих птичьих пород. В голубе революционер разглядывает буржуа и консерватора, — это, конечно, шутка, но ведь и этим оттачивается, оружие классового подхода к явлениям, которое еще должно пригодиться на свободе. От этого подхода ни на минуту не отказывается завтрашний Галерка. Казалось бы, что может быть невиннее огонька, засветившегося где-то за рекой? Но у узника он возбуждает вражду: «Бросаю свое презрение вам, вольные кровопийцы и вольные бессознательные предатели!»

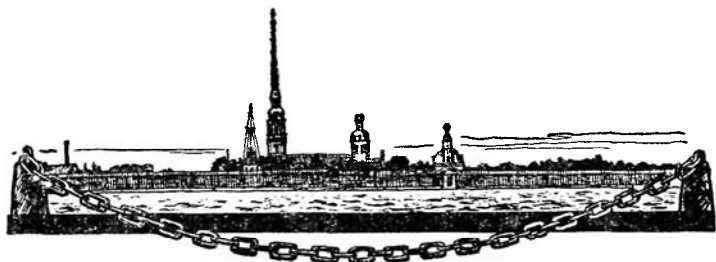
Порою вдруг сквозь броню привычной суровости прорывается глубокое поэтическое чувство, неожиданная метафора свидетельствует о ярком литературном даровании. «В марте зима только при появлении небесного начальства начинала плакать и прикидывалась умирающей. А чуть солнце за угол, — зима тотчас вновь спешила гвоздить, точно хотела навеки заковать в кандалы несчастную землю». Такой образ мог родиться только у плененного революционера, это образ борьбы, образ сопротивления.

Это неустанное и постоянное сопротивление сохранило личность революционера. Торжествующими строками провозглашает он свою победу:

«Тюрьма хочет задушить меня, — так нет же! Назло тюремщикам, сегодня мой вечер... Моей насмешкой будет мир души моей, взятый с бою. Я уйду только к окну, но буду далеко от вас. Смотрите: даже тюремный двор шепчет сегодня о жизни, любви и молодости!» (стр. 57). «Придет и наше время» (стр. 59).

К стойкости, к воспитанию воли призывает замечательная книга старого большевика Михаила Степановича Ольминского. И хочется, чтобы молодежь нашего времени испытывала не только благоговение и преклонение перед образами старых революционеров, но чтобы она сумела усвоить у них несгибаемую стойкость, их преданность идеям коммунизма, их настойчивость в борьбе за осуществление этих идеалов. В работе у станка, в учебе, в осуществлении великих задач подъема сельского хозяйства нашей молодежи приходится попадать в условия достаточно трудные. Но в их борьбе каждому бойцу помогает та сила, которая не могла прийти на помощь поколению М. С. Ольминского, — великая мощь Советского государства.

*Юрий Лебединский*



## I

### ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

— Административная высылка — это не наказание, а только мера предупреждения и пресечения преступлений, — любезно объяснял мне товарищ прокурора. — Поэтому вы и не подвергаетесь никаким ограничениям прав и преимуществ.

Утешенный мыслью, что многолетняя ссылка в тундры Восточной Сибири не наказание, я стал ожидать с нетерпением, когда окончится период... опять таки «не наказания» и не политического преследования, а только меры предупреждения на тот случай, чтобы не подлежащий наказанию человек не уклонился от «следствия и суда», которым он не подлежит. Эта предварительная «мера предупреждения» выразилась по отношению ко мне только в девяти месяцах жизни в Петропавловской крепости и двенадцати месяцах пребывания в доме предварительного заключения, — все время в строжайшем одиночном заключении.

Понятно, с каким нетерпением я и мои товарищи ждали объявления «предупредительного повеления»: путешествия по этапам, жизнь в Сибири — все это рисовалось воображению как освобождение. Относительно себя лично я упустил из виду только эластичность и легкую изменяемость российских законов во

всех тех случаях, когда дело коснется... не наказания, нет... а мер предупреждения и пресечения. Закон определяет срок административной высылки в пять лет. Я упустил из виду, что «предупредительная практика» удлинит этот срок до десяти лет плюс еще пять лет одиночного заключения. В экстренных случаях эта же практика поднималась до заключения в Шлиссельбургской крепости на пять лет, с тем что в самый день окончания срока человеку, уже мысленно считавшему себя на воле, объявляют опять-таки только как о предупредительной мере о продлении срока еще на пять лет, как это было с Лаговским.

Да, я упустил из виду все эти мелочи. Мне о них напомнили. После почти двухлетней одиночки, когда я с минуты на минуту ждал если не освобождения, то все-таки возвращения в среду товарищей и близких, мне объявили «меру предупреждения»: три года одиночного заключения и пять лет ссылки в Восточную Сибирь, — конечно, без ограничения прав свободного человека!

Хотелось бы без ложного стыда, без боязни упреков в малодушии, но и без преувеличенных жалоб на тягость заключения воспроизвести душевные переживания этих трех лет существования без жизни.

В последние дни января, в те дни, когда солнце особенно радостно играет снежным покровом Невы после декабрьской туманной полутьмы, мгновением по дороге от дома предварительного заключения мелькнула передо мною уличная суэта, и карета остановилась у ворот одиночной тюрьмы. Между двумя конвойными я вышел на улицу.

— Обожди, — сказал старший.

— Не обожди, а обождите!

— Все равно.

— Вовсе не все равно. Вы унтер-офицер, а не знаете своих обязанностей. Я сейчас буду жаловаться начальнику тюрьмы.

Я постепенно возвышал голос. Прохожие начали останавливаться. Нахал конвойр поспешил переменить тон.

— Потрудитесь обождать!

Не помню уже, из-за чего пришлось ждать. Затем мы вошли в ворота, прошли небольшой двор и поднялись по широкой лестнице с мраморной доской.

В конторе один угол отгорожен деревянной решеткой; на скамейках в этом углу ожидало приемки человек пятнадцать уголовных. Преобладали крестьянские лица и деревенские костюмы. До сих пор приезд и отъезд из тюрьмы сопровождался для меня полной таинственностью и некоторой торжественностью. Попав теперь в кучку людей, я с интересом осматривал и своих соседей и длинный ряд канцеляристов, занятых в той же комнате. Было почти приятно почувствовать себя на минуту не драгоценной жар-птицей, которую прячут от людских взоров. Неприятно — напротив того, унизительно — почувствовалось при виде деревянной решетки: точно загородка для скота! К тому же у решетки не было ни часового, ни специально представленного надзирателя, — опять будто проявление пренебрежения к арестованным.

— Вы на сколько осуждены? — спросил я молодого рабочего, сидевшего рядом на лавке.

— Пустяки. А вы?

— На три года.

Арестантам, которые начали прислушиваться к нашему разговору, стало, повидимому, неловко. В голосе рабочего послышалась особенная нотка участия, когда на повторенный вопрос о сроке он ответил:

— Стыдно и сказать... Три года! Тут попадешь на три месяца, и то не знаешь, останешься ли жив.

— Эй, отойди там, — раздался окрик начальства из дальнего конца комнаты. Арестанты отхлынули. Несмотря на неприятность окрика, я все-таки с удовольствием отметил для себя, что строгое начальство предпочло не обращаться непосредственно ко мне: очевидно, побаиваются. Через минуту молодой рабочий, оказавшийся позолотчиком, опять приблизился.

— Может быть, будет манифест, — пытался он утешить меня.

— Манифесты к нам не применяются.

— А мне скинули прошлый раз. Я читал, что и вашим тоже полагается...

— А вы уже были здесь? Знаете порядки?  
— Был два раза. Только три месяца как вышел отсюда.

— Почему же так скоро опять?

— Характер такой, — произнес он с глубоким сокрушением и с таким оттенком в тоне, будто характер — внешний придаток личности. Он продолжал: — Я раньше числился солдатским сыном, а теперь приписался в мещане и потому сказал, что сужусь в первый раз.

— А если общество\* потом не примет?

— Родные похлопочут. Да ведь и в мещанском обществе считается, что я судился в первый раз. Не хотите ли курить? Здесь потихоньку смолят.

Новый окрик, и позолотчик снова отошел. Чиновник начал вызывать арестантов.

— Ты за что осужден? — обратился он к одному.

— Лом украл. — Все засмеялись.

— Что же тебя, нечистая сила толкала к воровству?

Арестант молчит. Вызывают очень худошавого, болезненного, бедно одетого старика.

— Сколько лет?

— Семьдесят восемь.

— На кладбище пора, а ты в тюрьму угодил.

— Я в молодых-то годах был сельским писарем.

— Волостным писарем? — переспрашивает чиновник, готовый проникнуться почтением.

— Сельским, — подчеркивает старик.

Готовность канцеляриста испаряется, он обращается к следующему:

— А ты почему босиком? Ноги болят?

— Из участка в казенных сапогах привезли.

— Ну?

— Меня сдали, а сапоги увезли назад.

Дошла очередь до меня.

— Вы чем занимались до ареста?

— Был земским статистиком.

---

\* Если сельское или мещанское общество не принимало арестанта после тюрьмы, то его высылали в Сибирь.

— Статистом? В казенном или частном театре?

— Ни в том, ни в другом. Я служил в земской управе.

Чиновник недоумевает и пишет: «служащий в управе».

— Называйте, пожалуйста, только более ценные вещи, о пропаже которых можно пожалеть, — продолжал чиновник и обратился к своему соседу: — Если таких арестантов приведут разом человек пять, то на опись их вещей пойдет целый день.

Сведения собраны. Произведен поверхностный докторский осмотр. Надзиратель приглашает: «Кому нужно?» — и половина арестантов на время удаляется. Стало уже темно, а мы все ждем. Арестанты все настойчивее просят пить. «Здесь не приготовлено для вас воды», — слышен неизменный ответ надзирателя. Наконец всех повели в цейхгауз. Там жарко натоплено; стоят две ванны. При виде кранов один деревенский парень особенно жалобно стал просить пить. Он получил отказ: вода не кипяченая. Каждый новоприбывший обязан взять ванну и получает казенное белье. Политические имеют право носить все свое. После ванны нас повели в одиночные камеры.

Свет немногих электрических лампочек тонул в четырехэтажном коридоре с черным полом. Справа и слева, сквозь двери камер, слышался грохот ткацких станков.

У стола, на перекрестке двух коридоров, нас встретили надзиратели; они отобрали у меня книги и стакан. В камере младший надзиратель сказал, как мне слышалось: «Разденься». Это самое неприятное при переходе из тюрьмы в тюрьму: нужно быть все время начеку, чтобы осаживать нахалов. Не дать отпора в первый же момент — значит обречь себя на постоянные грубости.

— Вы, кажется, сказали «разденься»? Прошу обращаться на «вы».

— Я и сказал «разденьтесь», — оправдывался надзиратель. Тут вмешался старший.

— Вы теперь не подследственный, и у нас обязательно обращаться на «ты».

— А все-таки вы должны обращаться со мною на «вы».

Старший промолчал. На другой день я узнал, что здесь пытались было ввести обращение с политическими на «ты», но после бесчисленных историй вынуждены были отдать приказ об обязательном обращении на «вы».

Старший выдал мне одну из книг, пояснив: «Это только на сегодняшний вечер. Завтра я должен посмотреть, не внесена ли она в каталог запрещенных».

Я остался один. Грохот ткацких станков на мгновение создал иллюзию какой-то общественной жизни. Но тотчас вспомнилось, что как ни близок работающий на станке сосед, а поговорить с ним все-таки невозможно. Одиночество почувствовалось еще резче. Три года! Провести три года, не выходя из тесных рамок тюремного режима, ни разу не имея случая перекинуться словом с товарищами, ни с кем не имея общих интересов, не имея никакой осмысленной работы и никакой цели, кроме одной — изжить эти три года, наконец отдавая все время принудительному, бессмысленному, отупляющему труду, — удастся ли перенести все это? Сколько людей умерло здесь, не дождавшись окончания срока! Сколько сошло с ума!

Оставшаяся у меня в руках книга — трилогия Бомарше — слишком не соответствовала настроению. Тюремные правила, вывешенные на стене, ближе к злобе дня и читаются с большим интересом, хотя изложены безграмотно. Затем нужно оглядеться в новой обстановке.

На одной полке стоит жбан для воды и висит таз, на другой — миска, тарелка, кружка и солонка. Вся эта посуда ярко блестит красной медью. Предстоит ежедневно чистить ее; обязательно каждое утро натирать асфальтовый пол. А свободного времени вне обязательной работы, как видно из расписания, немного: час утром — он пойдет на умывание, уборку и чай; час на обед; три часа вечером. Следовательно, о систематической умственной работе думать не придется. И это в течение трех лет. К трехлетнему сроку

постоянно возвращается мысль, о чем бы ни начал думать.

Раздался звонок, и грохот станков разом прекратился. Короткое время слышался шорох уборки камер, и затем тюрьма погрузилась в молчание. В семь часов разнесли кипяток, в десять открыли койку. Нет ни наволочки, ни простыни. Я покрыл соломенную подушку чистой рубахой и лег не раздеваясь.

Утром первой мыслью было: «Три года!» Раздался продолжительный резкий звонок, и электрическая лампочка вспыхнула у потолка. «Выносите парашку!» В конце коридора особая комната, при входе в которую голова закружилась от миазмов: стало тошнить. Содержимое параши выливалось на особую решетку и внимательно рассматривалось надзирателем. Тут же стояла блестящая вычищенная медная посуда, в которой разносится арестантам пища и кипяток; тут же краны для холодной воды и кипятка.

— Выливай... Выливайте! — поправился вчерашний младший надзиратель. — Возьмите кирпич для чистки посуды.

Медленно потянулось первое утро. Хотел взглянуть через окно, тотчас через дверную форточку послышалось: «В окно запрещается смотреть!»

Курить нельзя, и внезапное резкое прекращение курения, повидимому, больше всего расстраивает нервы. Судорога сжимает горло.

Застучали дверные запоры. Не принесет ли это чего-нибудь нового? Вошел тюремный священник. Узнав о трехлетнем сроке, он сказал:

— Да, это трудно, но прожить возможно. Не нужно только раздражаться; не позволяйте себе думать, что тут желают делать все вам назло.

Всю благодетельность и разумность этого совета я понял только впоследствии. Теперь же на душе стало еще безнадежнее. Казалось, почва уходит из-под ног: «До сих пор думал, что одно только чувство озлобления может здесь дать содержание жизни. Если не раздражаться, не питать злобы и ненависти, то чем же наполнить существование?»

Часов в десять сказали:



— Берите вещи, сейчас на разбивку. — Старший прибавил смеясь: — Ничего не забывают, а то после — взятки гладки!

Уставши стоять перед дверями кабинета начальника, я стал прохаживаться по коридору на протяжении трех-четырёх шагов. Сейчас же послышалось: «Нельзя ходить! Поставили стоять, так стойте!»

В кабинете начальника вокруг большого стола сидели человек шесть помощников. Они стали изучать мою физиономию, ««снимать портрет», как иногда говорится. Начальник по бумажке повторил вопросы, которые вчера задавал чиновник, потом изложил те самые правила, которые я уже прочел в камере, и отдал какое-то приказание надзирателю.

— Вы знаете какое-нибудь ремесло? — обратился он ко мне.

— Нет!

— В таком случае вам предлагаем одно из двух: ткацкое или картонажное.

— Я выбираю картонажное.

— Больше ничего не имеете заявить?

— Я желал бы иметь камеру с окном на солнечную сторону.

— Мы делаем для заключенных все снисхождения, какие возможно. Вам уже назначена камера, но так как вы просите на солнечную сторону, то я переменно распоряжение. Больше ничего?

— Я бы желал иметь в камере кружку и блюдце.

— Ведь там же есть казенная кружка?

— Из медной неудобно пить горячий чай.

— Хорошо, я разрешаю. Гусев! Выдайте кружку и блюдце!

Затем начальник счел нужным дать совет:

— Вам назначен большой срок. Имейте в виду, что в ваших же интересах лучше отбыть его, не подвергаясь взысканиям, чем, — он сделал паузу для мудрого изречения и закончил: — чем подвергаясь взысканиям. Теперь вы можете идти.

В тюрьме, два крестообразных корпуса: первый, где я провел ночь, и второй, где предстояло провести остальные три года. Днем легко было ориентироваться

во внутреннем устройстве тюрьмы. Каждый корпус состоит из двух коридоров, пересекающихся под прямым углом и образующих таким образом крест. Каждый конец креста составляет отделение: в первом корпусе — с первого по четвертое, во втором — с пятого по восьмое. В отделении в одном этаже по пятнадцать камер с каждой стороны, всего сто двадцать камер. Вдоль камерных дверей верхних этажей идут узкие железные балкончики, и только над последним этажом есть потолок. В каждом отделении своя лестница, идущая снизу доверху без поворотов. В месте скрещения коридоров углы несколько срезаны. Благодаря такому устройству здания лицо, стоящее внизу на площадке, может наблюдать за надзирателями всех коридоров всех этажей и провожать глазами арестанта от ухода с площадки вплоть до входа в дверь одной из четырехсот восьмидесяти камер.

Меня ввели в камеру третьего этажа, в конце седьмого отделения.

После дома предварительного заключения, где все железное и все приковано, приятно увидеть обыкновенный стол, табуретку, горизонтальный подоконник, деревянную оконную раму: все это делает камеру менее похожей на звериную клетку.

Из объяснений коридорного надзирателя я узнал, что в здешней тюрьме решительно на все есть правило. Правило требует, чтобы посуда на полке стояла следующим образом: на миске тарелка вверх дном, возле миски — кружка вверх дном и таким образом, чтобы ручка свешивалась с полки; на кружке — медная солонка. Половая щетка должна стоять возле печки (отопление водяное). Стол ставится во время работы у середины стены, а прочее время в углу. Суконка для натирания пола имеет резиденцию в щели за парашкой. На окно ничего не класть, в окно не смотреть, голубей не кормить. Тряпки для посуды и для стирания пыли лежат на полке за жбаном (по рассмотрении «посудное полотенце» оказалось куском изношенных арестантских кальсон).

Зашел старший Гусев; высоко держа свою гладкую неумную голову, заявил:

— Подайте прошение о разрешении иметь кружку и блюдо.

— Вы же слышали, что начальник разрешил.

— Все-таки нужно подать прошение.

— Не приставайте с пустяками, — резко сказал я и отвернулся. Резкость вышла непроизвольная, но имела прекрасный результат. Гусев большой трус и уже никогда больше не осмеливался говорить со мной прежним тоном.

По всякому поводу здесь пишутся прошения. Я забыл при сдаче вещей в цейнгауз оставить при себе полотенце. Чтобы получить его теперь, нужно подать прошение начальнику, а писать прошение можно только в воскресенье; из цейнгауза же вещи приносятся только по пятницам. Благодаря такому порядку полотенце получилось только на десятый день после словесного, заявления.

На собственные деньги можно кое-что покупать, но только раз в неделю. Заявления о желании сделать покупку пишутся на особых бланках, называемых чеками. Написал чек на покупку почтовых марок, конвертов и бумаги; оказалось, не по форме: нужно писать «столько-то писем», причем под письмом разумеются штампельный конверт и лист бумаги. Свечей иметь нельзя; электричество же тушится обязательно в 9 часов вечера. Зато по утрам лампочки горят до 12 часов дня. Для покупки яиц и колбасы нужны разные чеки; ветчина и фрукты (кроме лимона) не допускаются; из рыбы допускается покупать только селедку. Все эти мелочные правила и ограничения доставляли первое время бесконечный материал для раздражения. Впоследствии оказалось, что кое-что из перечисленного мною имеет разумное основание; лампочки же горели и днем по случаю того, что в это время пробовали новую электрическую машину.

С одной только вещью я не мог примириться — это с расстановкой посуды по правилам. С первого же дня она начала вольничать. Надзиратель сперва молча восстанавливал порядок, потом отчаялся и старался ничего не замечать.

Коробочный мастер-надзиратель, человек со стек-

лянными, вечно подсматривающими глазами, принес работу. Он выдвинулся систематическими доносами на надзирателей и теперь считал себя важной персоной. Пришлось его осаживать. Работа, которой предстояло заниматься из года в год, состояла в приготовлении коробок для дешевых папирос. Картон режется на машине, остается только склеить узкие полоски, приклеить дно, окаймить цветной бумагой и наклеить этикет с надписью: «Заря», 10 штук шесть копеек». За тысячу коробок платят шестьдесят копеек, из них в пользу арестованного только двадцать четыре. Испуганный перспективой слишком однообразной работы, я спросил:

— Неужели только одна эта работа есть?

— Не-ет, — протянул мастер многообещающим тоном: — есть еще «Ландыш», «Курьерские». Итак, если вам надоест «Заря», то клейте «Ландыш», беритесь за «Курьерские».

Для выхода на прогулку надзиратель спешно отворяет одну дверь за другою, не ожидая, как в доме предварительного заключения, пока предыдущий арестант скроется из виду; за идущими не следует по пятам надзиратель; вам не приходится проводить время прогулки в клетке, напоминающей лошадиное стойло; по возвращении со двора дверь не замыкается в момент, как только вы вошли в камеру. Правило, вывешенное на стене, гласит, что прогулка обязательная, на практике допущено, что гуляющий может во всякий момент вернуться в камеру: удобство для легко одетых и слабых здоровьем.

Гуляют вокруг лужайки, человек тридцать одновременно, по одному направлению, на равном расстоянии друг за другом. Надзиратели покрикивают:

— Не разговаривать. Не находи. Держи дистанцию.

Иные арестанты не понимают слова «дистанция», и на этой почве возникают недоразумения. В наказание за нарушение порядка и за разговоры виновный удаляется в камеру. Первое время этот молчаливый топот десятков ног по звонкому плитняку производит странное и отчасти удручающее впечатление. Понемногу за-

мечаеть, что под наружным гробовым молчанием теплится жизнь, правда очень слабая: бдительность надзирателей не всегда достигает цели. Пребывание на дворе развлекает еще и тем, что дает материал для наблюдений: то привезут материал для работ, то выносят и укладывают на воз готовые изделия, то выбивают половики, носят дрова и т. п. Во всех таких случаях совместной работы требование не разговаривать смягчается, и до слуха гуляющих долетают отзвуки иной, хотя и тюремной, но все-таки более содержательной жизни, чем жизнь в одиночке.





## II

### МЕЧТЫ. ТЮРЕМНАЯ РАБОТА

Остается еще два раза провести 1 Мая в одиночке. Прошло уже шестьдесят семь дней. Так, день за днем, пройдет и остальное время. Когда представляешь себе только дни, то остающиеся тысяча двадцать девять дней не кажутся слишком большим сроком; но когда вспомнишь, что они составят три лета, три осени, три зимы и две весны, то продолжительность срока начинает давить. После тюрьмы настанет ссылка: где, при каких условиях — неизвестно. Ничего нельзя предвидеть, нечего строить планы, не о чем и мечтать, так как мечтание о самом моменте выхода из тюрьмы слишком волнует, а потребность мечтать велика, — уже втянулся за два года. Да и чем иначе наполнить пустоту жизни? Возня с коробками не занимает головы; к тому же заболел палец.

О чем мечтать? Вон голуби Полетели за Неву. Полетел бы и я, если б крылья... Перед глазами мелькнула широкая улица, шум толпы, движение. Тюрьма на минуту забыта. Но как, будучи голубем, принять участие в человеческой жизни? Иное дело, если бы, оставаясь человеком, я мог по произволу делаться невидимым. Не помечтать ли о том, что тогда было бы? Нет, нужно всеми силами бороться против соблазна.

Иначе за три года дойдешь до того, что разучишься различать фантазию от действительности. Отсюда один шаг до помешательства. Да и что за удовольствие мечтать о том, что невероятно и невозможно? Должна же мечта иметь хоть какую-нибудь реальную основу!

Чтобы полнее возвратиться в мир действительности, берусь за книгу, но утомленная голова отказывается понимать прочитанное. К счастью, приносят кучу книг, о покупке которых было подано прошение месяц назад; их дают только посмотреть и сделать опись в каталоге (у каждого заключенного свой каталог). Потом возьмут для справки в указателе запрещенных книг, положат штемпеля и будут выдавать в камеру две-три штуки. Я ловлю минуты и спешу читать вслух Лермонтова, который сразу захватывает все внимание. Горечь и злость — эти чувства так хорошо знакомы арестанту, так близки его душе!

Поэзия Лермонтова — это по преимуществу поэзия отверженного, вопль беглеца и стон узника. В ближайшие дни я частью возобновил в памяти, частью выучил заново «Демона», «Памяти Одоевского», «Первое января», «Думу», «Тучки небесные» и многое другое.

Чтобы обезопасить себя от вредных мечтаний, я спешил заучить как можно больше стихотворений, имея в виду повторять их вполголоса во время работы, когда чтение не дозволяется. Из Пушкина оказалась подходящей к настроению и была в этот раз заучена только поэма «Цыганы». Без конца повторял я про себя слова Алеко:

...Нет, я не споря  
От прав моих не откажусь!  
Или хоть мщеньем наслажусь.  
О нет! когда б над бездной моря  
Нашел я спящего врага,  
Клянусь, и тут моя нога  
Не пощадила бы злодея;  
Я в волны моря, не бледнея,  
И беззащитного б толкнул;  
Внезапный ужас пробужденья  
Свирепым смехом упрекнул,  
И долго мне его паденья  
Смешон и сладок был бы гул.

Воображению рисовались при этом соответственные картины, и по временам казалось, будто я, тогда еще мягкотелый российский интеллигент, действительно способен был бы провожать свирепым смехом падение беззащитного политического врага.

Обилие и разнообразие материала для чтения много помогли укреплению нервов. В середине апреля открыли окно, и после двух лет сидения в вонючих камерах Петропавловки и предварилки я упивался свежим воздухом. Нева очистилась ото льда и заволновалась. Вечно подвижная, она особенно хороша, когда широкая светлая полоса ее переливается и дрожит в лучах солнца. Тюремная ограда заслоняет часть реки, но все же видно, как оживление на ней растет с каждым днем. Пароходы, идущие вверх, тянутся у самого нашего берега, и потому видны только их трубы; тяжело им, бедным, когда на буксире несколько барок, и, слыша их учащенное дыхание, я подумал о бездеятельности общества покровительства животным.

Вместе с волнами свежего воздуха камера наполнилась звуками колокольного звона и суетливо-неугомонным стуком колес. Светло, чисто, весело.

Чтобы увеличить разнообразие зрительных ощущений, решил собирать картинки и виньетки. Пока их только две: на огненном поле куст ландыша, подрезываемый золотым серпом, да китаец с китайчатами и надписью: «Василий Перлов с сыновьями».

К началу мая умственные занятия стали утомлять. Подул южный ветер, и пароходный дым наполнил камеру. Уйти бы от него в поле или в лес! Но как уйти? Способ один — надеть шапку-невидимку. С барки взят на тюремный двор антрацит, ворота весь день открыты: будь шапка-невидимка, свернул бы во время прогулки с этого противного каменного круга и пошел бы вдоль Невы... дальше... дальше, — туда, где нет ни людей, ни копоты, ни городского шума! Воображение рисовало картины весенней природы, и не было сил устоять от соблазна. Когда на минуту опомнишься от мечтаний, действительность кажется такой скучной и серой, что спешишь скорее вернуться в область фантазии. То, о чем мечтал час назад, уже не удовлетворяет:



надоело наслаждаться, природой без товарищей. К счастью, при помощи шапки-невидимки не трудно освободить их. А если их опять арестуют? Нет, нужно позаботиться так изменить государственный строй, чтобы аресты не могли повториться. Обладание шапкой-невидимкой открывает новые способы борьбы. Ступив на эту дорогу, уже не можешь остановиться, пока не дойдешь до осуществления на земле всеобщего благополучия. С каждым шагом вперед возвращение к действительности становится все неприятнее. Это просто запой. Проходит несколько дней в мире грез, пока не закончится цикл мечтаний. В результате нервы опять расшатаны, в голове пустота, настроение мерзкое. Тюрьма давит. Некоторое время не можешь приступить ни к какой работе.

Именно такое состояние реакции овладело мною к 15 мая. В этот день была коронация, и ждали обычного манифеста. Я знал, что хотя по смыслу манифеста имею право на сокращение, однако надеяться не на что...

Именно от нас требуется подача особого прошения в применении манифеста. До ареста не приходилось обсуждать вопроса о подобном прошении. Но как только сказали: «Подайте прошение о применении к вам манифеста», — тотчас стало ясно, что прошение это должно служить департаменту полиции для отделения раскаивающихся и случайных от нераскаянных и убежденных. Таким образом, подача прошения была бы актом предательства по отношению к товарищам. В конце концов манифест создал лишь почву для тяжелого расхождения с теми из близких людей, которые смотрели на дело по-обывательски: они до конца не могли понять, как это человек отказывается от сокращения срока из-за пустой, как им казалось, формальности.

В день коронации обед подали в 6 часов утра. Через полчаса стали выкликать бесконечный список номеров камер, из которых заключенные подлежат освобождению. Я знал наизусть номера камер с политическими — ни один не попал в список. Послышался топот двухсот арестантов, вышедших в контору, и

внутри тюрьмы все замерло. Через окно назойливо вливалось праздничное гудение колоколов. Вследствие раннего обеда представление о времени спуталось, и день тянулся бесконечно. Заканчивая этот день, я не подозревал, что впереди еще будет много таких же тоскливых, мучительных дней и что сколько-нибудь прочного примирения с своим положением придется ждать так долго.

После коронации из четырех этажей тюрьмы остались занятыми только два. Впрочем, летом всегда тюремное население уменьшается. На прогулки в летние месяцы водят и до обеда и после обеда по полчаса. Начальство частью разъезжается в отпуск (в том числе и надзиратели), частью по дачам, откуда реже, чем зимой, является в тюрьму. Всюду идет ремонт, начинается работа на тюремном огороде, — все это тоже отвлекает часть надзирателей, так что число наблюдающих во время прогулки сокращается до двух или трех. Поэтому легче перекинуться словом или вообще позволить себе вольность. С осени начинается подтягивание, которое усиливается особенно к рождеству и к пасхе: усиление строгостей, как оказалось, объясняется боязнью потерять праздничную награду.

Лужайка на дворе манила своим ковром из полевых цветов. Хотелось лечь в эту густую зелень или хоть пройтись по траве свободно, рука об руку с товарищем, который гуляет на расстоянии полукруга от меня. Мне удалось сорвать немного цветов незаметно от надзирателя. Когда же зелень и цветы упали под ударами беспощадной косы, я успел, воспользовавшись оплошностью надзирателей, утащить клоч душистого сена и вложил его в жесткую соломенную подушку.

Когда прогулка прекращалась, я часто стоял у окна и наблюдал опустевший двор, которым спешили овладеть голуби, воробьи и галки. На минуту их спугивали арестанты, идущие на работу или с работы.

Нужно заметить, что, кроме четырех этажей с одиночками, есть еще нижний коридор с общими камерами. «Общие» — это те же одиночки, только с решетчатой дверью; разговаривать через дверь не запрещается. Здесь сидят краткосрочные (до трех месяцев);

они исполняют совместные работы;- чистят двор и улицу, колют и носят дрова, работают на огороде (где-то за городом), в кухне, прачечной, кузнице, по ремонту зданий и т. п. Утром они «выходят на двор и разбиваются на партии перед моим окном, затем расходятся — каждая партия со своим надзирателем. Надзиратели-мастера кричат:

— Становись тут. Плотники. Четыре человека всего? Где номер двадцать один?

— Ему завтра выходить.

— Эй, дай номер шестьдесят восемь.

— У него уже койка открыта.

— Болен? Ну черт с ним. — Раздается общий смех.

Один из арестантов говорит:

— Хорошо здесь! И хлеб... и костюм!

— Здесь поработаешь, на воле поневоле воровать пойдешь, — замечает другой, вызывая новый взрыв смеха. Опять слышатся крики надзирателей:

— Садовники! Лопату бери!

— На набережную-то?

— Улицы не нужно поливать: дождь был.

— Но, с метлами, приступи! Тут мусору много, заметай!

В числе мусора много хлебных корок и кусков просмоленного каната. Канат выдается в одиночки по весу, пенька принимается без взвешивания. Щипать пеньку — самая скверная и худо оплачиваемая работа; для облегчения ее более твердые части каната вылетают по ночам за окно.

Надзиратель с длинной, слегка посеребренной бородой молча подходит к кучке арестантов, приподнимает в знак приветствия фуражку, и рабочие, весело переговариваясь, без всякой команды отправляются на работу. Напротив, заведующий ремонтными работами Андрей Алексеевич, человек с красным, нервным лицом, все время ругается и суетится:

— Стекла .возьми! Слышите, что ль, носилки забирай, богадельня проклятая. Пше-ел! Кисть забыл? Анафема! Окаянная душа!

Далее идут уже непечатные ругательства, выкрикиваемые изо всей силы. Вдруг он видит, что арестан-

ты, уже приступившие к исправлению мостовой на дворе, недостаточно высоко замостили выбоину.

— Бугро-ом! Сволочи этакие! Делаете — потом переделывать. Бродяги! Что над вами — стоять нужно? Где штукатуры? Пошел.

На последнем слове голос его уже понижается. Ругателей такого сорта, людей с развинченными нервами, иногда можно встретить среди офицеров, которых один вид безответного подчиненного приводит в неистовство. Арестанты в целом народ далеко не безответный, но перед Андреем Алексеевичем они молчат. Вопреки первому впечатлению, он один из лучших мастеров по отношению к арестантам и сам по себе человек добрый.

Арестанты говорят:

— В общих лучше сидеть: кому супа не хватает — от других добавляют; разговариваем, смолим...

— Разве в общих дозволяется?

— Конечно, если найдут при обыске, то поругают или табаком накормят. Это ничего!

— Откуда же берете?

— Уходящие через ограду бросают в условленном месте. Теперь стали строго смотреть за этим: один успел поднять две пачки табаку и спички, да Андрей Алексеевич заметил. Хорошо еще, что он такой: поругает и забудет сейчас.

Из моей камеры можно отчасти наблюдать и за тем, что происходит внутри тюрьмы. Утром надзиратель произносит: «Здравия желаю», — значит, уже пришел помощник. Свистки поминутно вызывают коридорных надзирателей, и затем слышится команда: «Номер пятьсот тридцать один, в ванну! Дай девятьсот двадцать семь в контору! Приготовь на прогулку седьмое (отделение)! Эстонцев в церковь!» и т. п.

Кстати укажу, что, кроме упоминавшихся мною раньше, в тюрьме практикуются ремесла: сапожное, портняжное (в том числе и шитье белья), столярное, токарное и кузнечное. Плата бывает поденная и сдельная; в последнем случае арестант получает в свою пользу две пятых заработка. Все решительно работы арестантов на тюрьму оплачиваются. Например, коридорный служитель, разносящий обед и кипяток, полу-

чает 2 рубля 50 копеек в месяц. Обучением ремеслу тюрьма не занимается; каждый делает то, чему успел обучиться на воле. Многие арестанты добровольно работают в неурочные часы и по праздникам. Мне не раз приходилось слышать от неграмотных арестантов, работающих только в урочные часы, что праздники проходят медленнее и тоскливее будней. В то же время для многих, особенно для интеллигентов, имеющих книги, обязательная работа в течение целого дня является причиной постоянного раздражения.

Возвращаюсь к собственным впечатлениям и настроениям.

Сплошное однообразие жизни в одиночестве заставляет искать развлечения во всякой мелочи. Не говоря уже о свиданиях и переписке, даже мимолетный разговор или получение новой вещи скрашивает день. В силу этого иной раз без особой надобности купишь себе книгу или пригласишь цирюльника — арестанта, или закажешь новое платье, или даже отдашь сапоги в починку; все-таки, даже в последнем случае, на минуту уйдешь от самого себя, потому что откроется лишний раз дверь, нужно договориться, объяснить и т. п.

Спешу оговориться: не всякое открывание двери приятно. Помощники и дежурные доктора часто делают, обход и спрашивают: «Не имеете ли чего-нибудь заявить?» Всегда отвечаешь: «Ничего не имею». Иногда посетитель не удовлетворится этим ответом и начинает приставать: «Кто вы? Когда срок? Как себя чувствуете?» Эти вопросы очень неприятны; стараешься односложными и не очень вежливыми ответами отделаться от назойливого посетителя. Вначале, случилось, забудешься и вместо отрывочного ответа начнешь разговаривать по-человечески; через минуту замечаешь, что посетитель уже тяготится разговором, — ему нужно обойти еще сотни камер; спешешь прекратить разговор и чувствуешь себя напросившимся на оскорбление. Когда я уже был таким образом проучен, один помощник чуть не вывел меня из себя бесцеремонным залезанием в душу. Сверх обычного вопроса: «Не имеете ли чего заявить?» — он спрашивает: «Как живете, что делаете?» Я молчу, изображая про-

тест против задавания подобных вопросов. Помощник развязно продолжает: «Читаете?» Молчание. «Что читаете? Чем интересуетесь?» Молчание. Он раскрывает первую попавшуюся книгу. «Поэзией? До свидания!» Я готов был вытолкать его в шею. Не знаю, существует ли в этой тюрьме что-нибудь вроде патронажа, члены которого посещали бы и развлекали бы одиночников: мне ни разу не пришлось претерпеть подобного нашествия.

Папиросных коробок в тюрьме уже не работали, и возобновление заказа на них ждали не раньше осени. Мне принесли материал для приготовления так называемых решеток. Какой-то завод берет на себя поставку для военного ведомства коробок, в которые укладываются ружейные патроны. Каждая коробка имеет внутри пятнадцать гнезд. Коробки изготавливаются на заводе, который передает тюрьме только заказ на изготовление внутренних перегородок, вставляемых в коробку. Это и есть «решетки». Приготовлением их занято круглый год до сотни человек; в день можно сделать до пятисот штук; плата в пользу арестанта — 15 копеек за тысячу. Материалом служит: 1) кусок надрезанного грубого картона величиной в обыкновенный конверт; 2) три маленьких куска картона; 3) две палочки длиной со спичку и толщиной с карандаш. Большой кусок картона перегибается поперек, образуя продольные стенки решетки; в надрезы вставляются три малых куска картона, и таким образом получается пятнадцать гнезд; затем у сгиба большого картона приклеиваются две палочки, служащие для прикрепления решетки к дну коробки. Все склеивается.

В первый день вместо пятисот решеток мне удалось сделать не более сотни; потом дошло до двухсот пятидесяти — это максимум. Непривычка к физическому труду сказалась даже на такой, повидимому легкой, работе. Меня не понуждали.

Возобновление работы живительно повлияло на нервы; дни проходили быстро. Иногда заходил мастер (не тот, что заведует коробками) и что-нибудь рассказывал. От грубого картона и палочек получалось много пыли, но и это только ускоряло течение времени,

заставляя чаще убирать и подметать камеру. Готовые решетки для удобства счета устанавливаются в столбики, и тут явилось новое развлечение: суметь вывести столбики в пятьдесят решеток, чтобы не загромождать камеры. За изготовленными решетками приходят не реже раза в неделю — опять маленькое нарушение однообразного дня. Работаешь весь день сидя, а свободными часами пользуешься для движения. На чтение не остается времени, и понемногу отвыкаешь от книги. Голова занята то воспоминаниями, то мечтанием; материал для размышления становится все ограничней, а потребность в нем увеличивается. Начинаешь на своей шкуре понимать психологию наемного рабочего как противоположность психологии мелкого хозяина. Голова последнего вечно занята заботами, не выходящими из круга его хозяйства. Хозяйство возбуждает работу мысли, но оно же до крайности суживает ее содержание. Наемная механическая работа не дает поводов для размышления, но открывает простор желанию размышлять. Хозяйственный мужичок поглощен мыслями о хозяйстве даже в минуты отдыха; для наемного рабочего даже за пределами мастерской его ремесло не существует. Положение хозяйственного мужичка, поскольку он не подчиняется исключительно традиции, спасает его от совершенного отупения, но не допускает усвоения широких обобщений; положение наемника может довести человека до идиотизма, но раз дан толчок (мысли, работа мышления у него безгранична).

Июнь прошел быстро, начало июля — тоже. Казалось, что восстановлено прочное душевное равновесие; не верилось в возврат черных дней. Читал, правда, маловато, но зато в свободные дни впивался в книгу до самозабвения, так, что, прекращая чтение, с изумлением поглядывал на тюремную обстановку, столь отличную от нормальных условий жизни. И даже ненормальная тюремная действительность стала окрашиваться в какой-то розовый свет. Начинает казаться, что одиночка лучше ссылки в далекую тундру и что на мою долю выпал счастливый удел. Одно из крупных лишений — отсутствие табака — почти перестало чув-

ствоваться. С надзирателями установились мирные, ровные отношения. Вновь назначенный помощник, заведующий нашим корпусом, человек недалекий, но мягкий и деликатный. При обходе камер вместо вопроса: «Не имеете ли претензий?» — он спрашивает.

— Вам от меня ничего не нужно?

— Ничего.

— Всем довольны?

— Всем доволен, — отвечаю я, каждый раз внутренне улыбаясь по поводу этого заявления о житье во все удовольствие за железной решеткой.

Все шло бы хорошо, если бы шелест картона не раздражал с каждым днем сильнее и если бы не слабели пальцы. На время работы стал забивать уши ватой, обернутой в бумагу: на несколько дней это помогло. Но пальцы все слабели; чтобы разжать их на правой руке, приходилось употреблять в дело левую, и наоборот. Я стал чаще разминать их, а чтобы заглушить шелест картона, декламировал стихи. И вот однажды, когда я напрягал все силы, чтобы не бросить работу, точно жидкость протекла от пальцев до лица и судорожно сжала горло; при новой попытке работать судорога в горле повторилась и вызвала тошноту. На другой день доктор выдал санитарный листок.

В конце июля по случаю дезинфекции камер меня перевели на сутки а другой коридор. Это целое событие. Сколько новых впечатлений! На моей части двора всегдалюдно, а здесь ни души. Влево барак тюремной больницы, а прямо перед окном пустынный тюремный садик. Только березки перешептываются между собою. Казалось, что они тоже арестанты, что они вспоминают счастливое время, когда на воле росли на краю лесной поляны, где ручей под дыханием смолистого ветерка безустали рассказывал о таинственной глубине леса, о беспечных птицах и опасных зверях. Когда березки грустно замолкали, погружившись в свои думы, я все-таки завидовал им: они не совсем одиноки...







### III

#### ТАЙНА ЧЕРНОГО ДЫХАНИЯ

Непрочно тюремное благополучие, и неустойчиво в одиночке душевное равновесие. Тон жизни, смысл существования дает, в конечном счете, единственно счет времени, ожидание конца. Думай или не думай о сроке, считай или не считай дни, а вопрос о времени неизбежно будет служить основой жизни. И как ни отвлекайся от этой основы, она даст себя знать.

Изжить время — это главнейшая тюремная работа. Но всякая другая работа тем больше спорится, тем быстрее идет вперед, чем больше душевных сил вы вкладываете в нее. А изживание времени имеет как раз обратный характер: чтобы спорилась эта, так сказать, работа, нужно возможно меньше уделять ей внимания, — забыть о ней, поскольку возможно. Но в чем же искать забвения? Принизить себя до постоянного, длительного интереса к коробкам или решеткам невозможно. Принижал, давил мысль, а в душе, хоть задвленная, царила главная надежда: придет конец июля, исполнится полгода срока, останется только два с половиной года! Только! Во всяком случае, от счета дней трудно отказаться, да и вряд ли есть надобность; ведь это удовлетворение обычной потребности ориентироваться во времени вроде потребности знать, какое се-

годня число и какой день недели. Иной раз надоедает ждать ближайшего этапного пункта — например, конца первого полугодия, — но тогда и считаешь меньше, вспоминаешь реже. Когда же этапный пункт достигнут, вспоминаешь о достигнутом чаще, чем следует. Идет время, и только что достигнутое крупное завоевание начинает казаться все менее значительным, а то, что впереди, точно вырастает. Когда же, празднуя истечение первого полугодия, вспомнил, что осталось сидеть больше, чем все, предыдущее сидение, считая и последственное, — стало еще меньше оснований праздновать: ведь не сейчас, в июле, а только через полтора месяца, в сентябре, исполнится восемьсот семьдесят дней со времени ареста и до срока останется также восемьсот семьдесят дней; останется все еще больше, чем прошло! И кажется, что здесь, несмотря на истечение полугодия, все еще продолжается «первое время» отсидки и что только с середины сентября начнется время «а потом». А все-таки мысль уже нет-нет, да и заскочит вперед, дальше прежнего, — уже не только к январю, но и к июлю будущего года. Впрочем, это случается редко. Пока что основной календарь мой исчерпывается следующими датами:

6 сентября: пройдет восемьсот семьдесят дней, останется тоже восемьсот семьдесят дней;

15 ноября: останется восемьсот дней;

19 ноября: пройдет триста дней отсидки;

24 ноября: пройдет десять месяцев;

15 декабря: пройдет девятьсот семьдесят, останется семьсот семьдесят, разница двести;

14 января: мой тысячетный юбилей (считая тюремный день за год);

24 января: годовщина отсидки;

23 февраля: останется сто недель. Это пока предел желаний и надежд.

Июль был жаркий, томительный. Несколько дней я читал, не отрываясь, и совсем было забыл о тюрьме. Обрадовался, что могу читать серьезную книгу, не насилая себя. Явилась надежда, что перелом к лучшему совершился окончательно. Но неполучение писем все испортило.

Было условлено, что мне будут писать два раза в неделю. Эти письма никогда не получались своевременно: лежали где-то по приходе в Петербург неделю, иногда больше и доходили ко мне по два или по три разом. Ожидание их всегда нервировало. Когда долго нет, — ловишь звуки свистка, которым вызывается надзиратель нашего коридора. Раздается этот свисток — разом охватят и надежда и опасение: рука замрет над работой в ожидании; вот шаги громче, потом опять тише. Нет, не ко мне. А письма, знаю, где-то лежат, нужно только переслать их в тюрьму, — сегодня, завтра, не все ли равно? Но тогда почему же не сегодня? Только потому, что какому-то чиновнику приятнее попусту болтать языком и ногами, чем сделать целесобразное движение.

Уже семнадцать дней нет писем. Написал по этому случаю резкое прошение. Знаю, что толку не будет, а стал спокойнее: отвел душу, совершил акт борьбы, самозащиты; все-таки чиновникам будет неприятно читать прошение. На минуту забудешься над книгой, и настроение станет хорошим, но тотчас вспомнишь о письмах — и точно палкой по голове ударили. Знаю, что бесполезно, но все справляюсь о письмах у тюремной администрации. Отвечают: «Писем давно никому не было — третью неделю». Значит, я разделяю общую участь и есть надежда, что никакого несчастья с близкими людьми не случилось. Но нет ни в чем уверенности. И растет в то же время злоба на задержку писем. Нет сил за что-либо взяться. Всякие утешения и самоутешения бесполезны. Нервы все хуже. Читать не могу: раздражает вид печатной бумаги, а шелест листов при перевертывании страницы совершенно невыносим. Воскресенье — день писания писем. Ничего не могу писать, перо не держится в руках. Едва-едва написал за день несколько строк, сдал листок с пустыми страницами, и новая злость за то, что не только я, но и близкие мне люди будут страдать, получивши недотпсанное письмо.

Пошла уже четвертая неделя, а писем нет. Когда уже все нервы измотались, была доставлена целая груда писем; некоторые из них, как видно по штемпелям,

попали ко мне только на тридцать пятый день. С получением писем точно наступил перелом тяжелой болезни. Но вернуть потерянное равновесие оказалось не так легко, как думал. Все тело ныло, пальцы болели, дух захватывало, всякие звуки, даже звуки собственных шагов, резали ухо: пришлось довести до минимума хождение по камере. Ужасно хотелось бы поскорее, оправиться и вернуться к решеткам.

Пробовал работать. Трудно. Раньше делал по двести пятьдесят в день. Если и теперь сделаю столько же, то, значит, мои нервы не так уж плохи. Невольно стал спешить, волноваться: «А вдруг не сделаю». Работа стала не ладиться, я — ругаться и рвать картон. Потом бросил все и полтора часа сидел без движения, всячески стараясь уверить себя, что спешить некуда и волноваться не из-за чего. Возобновил вновь работу «так себе, только от скуки»; начал очень медленно, останавливаясь после каждого движения, и убеждал себя не спешить: «А вот же и не сделаю двести пятьдесят и ничего это не значит». Дело пошло, и к вечеру набралось около ста пятидесяти решеток. Через несколько дней зашел мастер:

— Сколько у вас сделано?

— Около восьмисот.

— Хорошо бы к завтрашнему дню догнать до тысячи: удобней принимать круглое число.

Я принял это, как понукание, тотчас начал волноваться. Даю звонок, вызываю мастера, объясняю ему, в чем дело, и прошу вообще не трогать меня. Он извиняется, уверяет, что вовсе не имел в виду понукать. Я понемногу успокоился. Картон мучительно скрипел, но я старался уверить себя, что это гармоничные звуки, пытался найти ритм.

Окна забили. Вчера еще мокрый сентябрь обвевал грудь и через плачущие фонари уносил истомленную мысль под неприятный стон бора. А сегодня остались белые стены да сам с собой. Сквозь двойные стекла и частую решетку не многое различишь во мглистом вечере. Фабричных труб не видно, но они там, влево, за рекой, я знаю. Будят злобу и влекут тайной. С первых дней пребывания здесь я следил за направлением

их дыма, угадывал погоду и стал задумываться над ролью каменных гигантов, которые, казалось, дышали черным дыханием.

В тяжелые мартовские дни холод еще ковал реку и узорил оконные стекла, а непонятные трубы уже несли весть: скоро! Взивались стройные к небу, и черное дыхание их соперничало с облаком. Оба к солнцу — облако плыло, а черное дыхание склоняло вершину. Утром часовые еще топотали от холода и арестанты поглубже прятали красные руки под ветхие полушубки, но я уже знал, что скоро конец холоду. Черное дыхание колебалось: спешило к солнцу и отступало, зовя за собою свет и тепло. Казалось, север собирал последние силы и вдруг бежал, побежденный. Черное дыхание пахнуло за ним. И я уже знал, что завтра желтые полушубки сменятся серыми бушлатами.

Как только потемнел снег и побежали первые ручьи, тотчас мысленно стал уноситься на Волково кладбище, к могилам любимых писателей. Воскрешал в памяти надгробные камни, склонялся благоговейно перед творческой мыслью, а затем переходил в другую часть кладбища, которая когда-то поразила воображение бесконечными рядами деревянных крестов столичной бедноты. Здесь уже не благоговел, но чувствовал себя спокойнее и лучше, — как бы дома, между своими. И вот установилась в мыслях связь между этими могилами и черным дыханием. Что, если бы эту связь могли понять и те, что безвременно сошли в неизвестную могилу? Что, если бы эти тысячи воскресли на мгновение вместе с новым сознанием?

Помню теплый весенний вечер. Окно было открыто. Земля трепетала, такая воздушно-радостная. Люди должны были спешить за город. А мне казалось, что с окраин серым облаком несутся мертвые навстречу живым; покинули водянисто-затхлый приют вечного покоя и летели к тем трубам, что горделиво взвились к облаку; молили, казалось, о возврате загубленной жизни, а черное дыхание отвечало наглым смехом. И у меня росла злоба против того, что первым принесло весть о близкой весне. Фабричные трубы связались с тюремными решетками, и раздражение перешло на

надзирателей, хотя видел, что весна смягчила их суровость.

Вечером коридорный надзиратель открыл дверь в неурочный час. Колебался, потом спросил:

— Не дадите ли, господин, книжечку на ночь? Нам не позволяют брать с собой на дежурство. А ночь длинная, и от думы не найдешь места.

— Какая же у вас дума?

— Ведь вы не первый... из таких. Многое узнал от ваших и... да что говорить: вы ночи рады, а мне... Вы, конечно, не верите в бога?

— А зачем вам знать?

— Ваши много рассказывали: о Дарвине, о геологии и о прочем. Только бы забыться. Может быть, найдется какая-нибудь книжка о путешествиях?

У меня было описание полярного путешествия Нансена: только что прочел и находился еще под сильным впечатлением. Дать или не дать? Слишком многое у меня связано с этой книгой. Когда мы бродили во льдах у Таймыра, электричество в камере погасло грубо, как окрик конвойных. На другой день с утра я был опять в пути. Корабль неподвижен среди льдов, и мы пишем:

«Подавляющая, гнетущая мертвенность. Ни борьбы, ни возможности бороться. Все тихо. Смотреть некуда, — только в себя, закоченевшего под ледяным покрывалом. Не жизнь и не смерть: это между ними. Никогда не спокоен, всегда ждешь, и убиваются лучшие годы».

Мы писали дневник, монотонный, как жизнь-смерть. В крупницах движения было наше все. Сверх того — только ожидание. Наконец покидаем корабль. Воскресли, преодолеваем остроганные глыбы, дружимся с собаками и убиваем их на пищу. Опять черная зима на острове без имени, в проклятой камере. Волнуясь, спешим на юг с бледным отблеском весенней зари. Вот и серый берег и черная гладь живого моря после мертвых снежных полей. Послышался лай собаки; показались люди. Капитан чинно жмет руку англичанину, а я чуть не обиваю с нот его спутников, обнимаю собаку, хохочу и в первый раз чувствую, что капитан — чужой мне. Но

все же слишком много пережито с ним и не хочется пускать тюремщика в эти интимные переживания. Однако я дал книгу.

Наутро, как всегда, первый вопрос черному дыханию: силен ли ветер? Куда дует? Ответа нет. Праздник? Нет. Странно... После обеда дежурит ночной надзиратель. Говорит:

— Ничего, книжка хорошая. Только зверей мало. Африканские путешествия интереснее. — Он быстро оглянулся на дверь и наскоро проговорил: — Все фабрики стали. Нагнали пропасть казаков. И нашим влетело на холерном кладбище: не собирайся. Не дали распить бутылку, не посмотрели даже на тюремную форму...

Дверь захлопнулась. Щелкнул замок. Расспросить не успел. К окну. За Невой фабричные трубы краснеют, точно голые. И будто закрыты их пасти. По какому случаю забастовка?. Некого спросить, жди.

Скоро узнал, что это забастовка политическая, связанная с коронацией. То было первое по своей грандиозности политическое выступление петербургского пролетариата. Сквозь камни и железо проникали в тюрьму вести о великом, и дрожало сердце. И замерло оно, когда трубы вновь оделись черным дыханием. Дан был новый толчок моей мысли в связи с тем, что раньше думал о различии психологии пролетария и мелкого хозяина. Но голова работала плохо: мысль сбивалась.

Теперь фабричные трубы дымятся. Черное дыхание не зовет солнца и точно стыдится своей победы над голодом. Мутнеет солнце, — не от разбитых ли надежд? По ночам чаще прежнего грохочут колеса у ворот. Шушат шаги в коридоре, звякают ключи. Надзиратель не успевает остановиться у фортки. Только далекий лес через беззапретный ветер шлет привет наболевшему мозгу да холодеющие волны заодно со мной глухо рвутся из кандалов набережной.

Но забили окна, — ушли и ветер и волны. Была осень, ничего не осталось. Лишь белые стены не уходят. Некуда смотреть, — только в себя. Кажется, череп твердеет, а сжатый мозг в судорожном, порывистом протесте пытается схватить тайну черного дыхания. Оно —

дителя тысяч, покоящихся в безвестных могилах. Но ведь оно же вещало мне близость революции! Оно разом затаилось в надменной трубе по зову тех, кого убивало. Не было над ним власти тысяч, и послушно оно было сигналу безвластных. Если бы возможно было понять эти противоречия! Если бы способен был я думать систематически!







#### IV

### СВОЯ РАБОТА. ОБЛЕГЧЕНИЕ РЕЖИМА. ГАЗЕТА. КНИГА. О НАДЗИРАТЕЛЯХ. СВИДАНИЯ

С первых же дней после приговора, как только узнал о трехлетнем сроке, не покидала меня мысль о необходимости использовать эти годы, чтобы они не пропали даром, мысль о необходимости придумать себе большую умственную работу. Но в первый год ничего не вышло: и работы не придумал, и способности думать не было, и казенная работа мешала: просидишь 9 часов на табуретке и, понятно, тотчас после звонка вскакиваешь. Продолжать сидеть и трудно и вредно. Начинаешь бегать по камере или бросать мяч, сделанный из тряпок. А в праздники мешала писать боль в пальцах.

Все же понемногу стал назревать план составления словаря к сочинениям Щедрина. Вначале трудно было даже уяснить себе: что это, действительно план или же только мечтание о работе, как бы уже готовой. Понемногу план выяснялся, определялись детали. Но стоит ли цель тех трудов, которые придется потратить? И хватит ли умения?

Достал тетрадь в четыреста страниц. Работа разом пошла на лад, и я пришел в такое возбужденное состояние, точно вся внешняя обстановка изменилась к лучшему. Через неделю меня заинтересовала не только цель работы, но и самый процесс ее. Боялся, что

в феврале нахлынут тяжелые воспоминания о прошлом годе, но оказалось, что уже некогда вспоминать, хотя был освобожден от казенной работы.

В конце месяца солнце весело глядело в камеру, голуби хлопотали над устройством гнезда, налетели вороны, повеселела прогулка, но мне уже не до них было. Все окружающее стало казаться пустяками.

Вскоре образовалась привычка: утром, сразу же после уборки камеры, ставил стол против окна, клал на него тетрадь, книги, перо. Походишь немножко из угла в угол, а затем — за работу. Опасение, что «закроют койку», то-есть возобновят обязательную казенную работу и лишат возможности окончить собственную, повело к тому, что утром первая мысль — о работе, а вечером последняя — чувство удовлетворенности от мысли, что дело подвинулось вперед. Иногда случались перерывы в работе на несколько дней, и после того работалось с особенным удовольствием. Наконец дошло до того, что я и во сне вел разговоры все о той же работе.

В августе уже осталась незачеркнутой, то-есть невыполненной, лишь незначительная часть плана. Доктор как будто забыл обо мне, а я не звал его, и казенная работа не возобновлялась. Но оставалось дела еще месяца на два, а доктор всякий день мог вспомнить. Стал насиловать себя, хотя чувствовал уже усталость; но это насилие само уже показалось интересным, как опыт умственной дисциплины при данных условиях. В ноябре вся работа была закончена: передо мною лежали четыре мелко исписанные тетради по четыреста страниц. Таким образом, почти весь второй год отсидки получил особый характер.

Подъему настроения способствовали и некоторые облегчения тюремного режима. Мне приходилось по этому поводу слышать следующее мнение:

— Над вами разразилась такая ужасная катастрофа, что удивительно и непонятно, как вы можете придавать значение мелочам тюремного обихода: когда богатый человек разоряется, то что значит для него лишний рубль?

Лица, высказывающие такое мнение, забывают, что

тюрьма с течением времени для каждого превращается из катастрофы в образ жизни, и сравнивать заключенного нужно не с человеком, только что разорившимся, а скорее с бедняком вообще. Чем беднее человек, тем дороже ему всякая мелочь. Чем длиннее срок и чем суровее режим, тем чувствительнее малейшее изменение.

До моего поступления в данную тюрьму она славилась своей жестокостью. К счастью для меня, начальник ее (по фамилии Сабо) внезапно умер почти накануне моего прибытия. Я застал уже отмененным самое тяжелое для образованного человека и самое нелепое лишение: письменные принадлежности были уже разрешены... Я назвал лишение письменных принадлежностей нелепым, так как убежден, что оно может иметь целью только осуществление злобы и мести: никаких незаконных сношений оно не может предупредить. Если в тюрьме или из тюрьмы возможно передавать письма, то само собой разумеется, что возможно добыть и бумагу и перо. Пронумерованные тетради, чернила и перо я получил сразу, хотя на стене еще висело правило, гласящее:

«Для постоянного упражнения в письменных занятиях арестованным разрешается хранить у себя в камерах грифельные доски и грифель по утвержденному Гл. тюр. управлением образцу; прочие же письменные принадлежности выдаются им лишь по их о том ходатайству, и с тем: а) что принадлежности эти выдаются счетом; б) что они, вместе с исполненной работой, каждый вечер должны быть отбираемы и снова выдаваемы наутро и в) что, кроме направляемых по принадлежности писем и деловых бумаг, все прочее написанное, не требующее окончания, дополнения или исправления, арестанту не возвращается и хранится до его освобождения при делах тюремной конторы».

Особое печатное объявление гласило, что «по разрешению» письменные принадлежности отбираются на день и возвращаются на ночь. На деле же они не отбирались уже ни на день, ни на ночь. Для получения карандаша оказалось еще необходимым подать мотивированное прошение; я сослался на необходимость отмечать в книге значение иностранных слов. Через

некоторое время мне вздумалось просить о разрешении цветных карандашей. Мотивов не объяснил в прошении. Начальник говорит:

— Мы не делаем никаких напрасных стеснений. Вы указали, зачем вам нужен черный карандаш, и получили его. А цветные зачем? Мы должны знать это.

— Это моя прихоть.

— Хорошо, я разрешаю.

Далее вопрос о письмах. По правилам, можно было писать четыре письма в месяц, по воскресеньям, в размере одного листка. Постепенно число писем возросло до шести в месяц, по полтора листка, и писать можно было в течение недели, а в воскресенье только сдавать.

Далее, вопрос о воде. Никогда я раньше не думал, что и в этом вопросе может применяться принцип либеральный и принцип консервативный. Но я застал еще применение консервативного принципа. Он состоял в том, что заключенному выдается горячая вода не выше двух с половиной кружек в день (в том числе и на мытье посуды). Правда, в камере стоял медный жбан с холодной водой, но посуда была старая, на дне жбана виднелись подозрительные черные пятна, и около трех месяцев мне пришлось испытывать хронический недостаток питьевой воды. Что здесь проводился именно принцип консервативной водяной политики, в этом я убедился из следующего разговора. Я обратился к помощнику с вопросом, какие именно продукты можно покупать через тюрьму. Помощник был новый и не знал; а старый надзиратель объяснил ему: «Соленых продуктов вообще не разрешается, — после них арестанты много пьют».

Взгляды тюрьмоведов могут быть различны, но ограничение количества воды для питья — это уж как будто крайность. Месяца через три по моем прибытии были разрешены чайники, и вместе с тем прекратилось гонение против селедки. Дальнейший либерализм стал выражаться в пропуске в тюрьму масла, сыра, мяса и слобных булок; а разрешение слобных булок логически повело к пропуску бисквитов и печения. Но виноград долго оставался под запретом, хотя лимоны, яблоки и апельсины стали пропускаться.

К числу облегчения следует отнести и разрешение возвращаться с прогулки когда угодно, не дожидаясь смены. Это важно особенно для тех, кто ходит в казенном платье, слишком легком для ветреной и морозной погоды. Далее, по правилам, посещение церкви было обязательно. Но при мне уже не тащили туда насильно, и даже при занятии камеры надзиратель опрашивал, указывая на евангелие, молитвенник и икону: «Унести или оставить?»

Этот простой вопрос прозвучал для меня в высшей степени утешительно, как проявление уважения к совести заключенного.

В начале второго года мне удалось получить вещь, о которой обычно не смеет и мечтать политический заключенный в российской тюрьме: ежедневную газету. Вот как это случилось. По правилам, чтение газет и всяких вообще периодических изданий, безусловно, воспрещается. Даже старые журналы не дозволяются, даже обрывок газеты, в который завернута «передача», немедленно отбирается. Но от надзирателей я узнал, что когда-то кому-то, вероятно в силу особых хлопот, было разрешено получать официальное издание министерства финансов — «Вестник финансов, промышленности и торговли». Это обычно сухое официальное издание, однако, для человека, так долго оторванного от всякой жизни, даже и это издание могло представлять некоторый интерес. Итак, прецедент получения журнала был. А я знал, что министерством издается еще ежедневная «Торгово-промышленная газета», числящаяся официально приложением к «Вестнику». Поэтому, ссылаясь на прецедент и необходимость иметь «Вестник» для научных занятий, я попробовал подать в главное тюремное управление прошение о разрешении получать журнал «со всеми приложениями», умолчав, конечно, о газете. Сверх ожидания, ответ получился скоро и в благоприятном смысле. Тогда уже, ссылаясь на разрешение главного тюремного управления, я подал прошение начальнику тюрьмы о том, чтобы выписали на мой счет «Вестник», и опять — «со всеми приложениями», причем указал и стоимость журнала вместе с газетой, не упоминая

о газете. Таким образом, когда стала получаться газета, начальство очутилось перед совершившимся фактом, им же самим допущенным. Итти на попятный постеснялись, и в течение двух лет я имел счастье аккуратно получать ежедневно газету.

Немало тюремного времени удалось мне ухлопать на разбор этого журнала. В нем много интересных материалов по экономической жизни, но я прежде всего, конечно, набросился на политику и, выуживая из казенной газеты все, что можно было на этот счет выудить, быстро проникся юмористическим настроением. В России, несмотря на неурожай, все было до того благополучно, что некуда деваться от сытости. Но вот горячая, патетическая статья о бедствиях, которые влекло для России отсутствие... помощников податных инспекторов. Поддаюсь влиянию статьи и уже собираюсь вместе с автором горевать над участью бедной России, как вдруг в конце статьи узнаю, что Россия спасена: учреждено сто пятьдесят должностей помощников податных инспекторов. Веселила меня и казенная полемика. Например, автор серьезно и пространно доказывал, что ввиду открытия коммерческих училищ «едва ли нужно командировать молодых людей за границу для изучения арифметики». Мне ужасно хотелось написать в ответ, что «едва ли возможно оспаривать справедливость этого мнения». Но забавней всего был тот пафос, с которым неизменно писались статьи о «великой реформе» в России конца XIX века — о введении винной монополии. Как бы то ни было, но газета и своей политической юмористикой и серьезными сообщениями из области экономической жизни много часов отняла для меня у тюрьмы.

Понемногу наладилось дело и с книгами. По правилам, книги из тюремной библиотеки политическим заключенным вовсе не выдаются. Можно читать только свои; но получать или покупать их можно, а возвращать из тюрьмы на волю нельзя до самого конца срока заключения. Тюрьма имеет свой специальный каталог запрещенных книг, кончающийся изданиями 1893 года; о книгах, изданных позже, нужно подавать прошение в главное тюремное управление, которое каждый

раз сносится с главным управлением по делам печати. Существуют особые печатные бланки для прошений о книгах; на них надпись: «Секретно»; под этими прошением нам запрещалось подписывать свою фамилию. Государственное дело великой тайны! В камере можно иметь одновременно, кроме словаря и учебника, три книги научного содержания и одну — беллетристического.

Дня через два по моем прибытии явился в камеру старший надзиратель.

— В ваших книгах оказались запрещенные: Писарев и «Письма к тетеньке» Щедрина. Пушкина и Лермонтова вам пропустили, хотя в них есть запрещенные статьи: «Демон» и «Евгений Онегин». Но начальник разрешил своею властью.

— Но у меня нет сочинений Писарева.

— Там есть маленькая книжка в зеленой обложке.

— Так ведь это биография Писарева, сочинение Евгения Соловьева.

— Все равно. В каталоге сказано: «Все сочинения Писарева». Значит, и переводы, и стихотворения, и биографии.

— Я об этом буду иметь разговор с помощником. Но неужели и «Демон» и «Евгений Онегин» тоже запрещены?

— Да. Только сказано: «Берлин, 1866 года», а у вас другое издание. Запрещены также «23 сказки» Щедрина, а у вас на книге стоит просто: «Сказки». Поэтому их пропустили.

— Может быть, указан и год издания «Писем к тетеньке»?

— Да. Там стоит 1883.

— Скажите помощнику, что я желаю его видеть.

— Я еще хотел сказать: стихи у нас не считаются беллетристикой, но сочинения Лермонтова — беллетристика, потому что «Демон» — восточная повесть. Вы просили выдать собрание сочинений Скабичевского, но это тоже беллетристика.

— Каким образом?

— Там в заглавиях указаны романы и повести.

— Так ведь это не заглавия, а подзаголовки: они

указывают, по поводу какого произведения написана критическая статья.

— Хорошо, я скажу помощнику.

Надзиратель был, видимо, обижен моими возражениями. Потом пришлось говорить с помощником. Он довольно легко разжаловал Скабичевского из беллетристов. Относительно биографии Писарева отделался вопросом:

— Вы уверены?

И обещал подумать. По поводу «Писем к тетеньке» он стоял на своем, хотя я указывал, что запрещено отдельное издание 1883 года, а у меня полное собрание сочинений Щедрина 1892 года. Дело дошло до начальника тюрьмы, который признал правильным решение помощника. Я решил обратиться в главное тюремное управление. Но как написать прошение в такой форме, чтобы не накликать новых запрещений? Я решил вовсе не напоминать о Щедрина, а поставил вопрос в общей форме. Напомнив, что в каталоге указывается год и место издания, я просил «дать разъяснение»: распространяется ли запрещение и на другие издания? Затем привел в пример «Демона» и «Евгения Онегина» и поставил вопрос: следует ли из этого, что запрещены и все полные собрания сочинений Пушкина и Лермонтова, и либретто опер того же издания, и хрестоматия с отрывками из «Демона» и «Евгения Онегина». Я старался сделать свое прошение возможно более нелепым. На другой день после его подачи «Письма к тетеньке» лежали у меня в камере.

Однажды мне принесли Л. Толстого «Война и мир». Книга новая, а год издания нарочно оторван. Это поставило начальника тюрьмы в очень трудное положение: и совестно и боязно. В конце концов он решился рискнуть и выдал книгу.

Понемногу и эти порядки изменились к лучшему. Ответы из главного тюремного управления стали получаться через две-три недели. Книги реже стали подвергаться запрещению.

Потом начальнику тюрьмы было предоставлено собственной властью пропускать новые, повторные издания тех книг, первые издания которых не были внесе-



ны в каталог. Наконец тюремное начальство составило описок тех новых книг, которые в разное время были пропущены по прошениям отдельных лиц, и эти книги разрешались уже без новых прошений.

Постепенно улучшение режима выражалось и в меньшей придирчивости к мелочам (мелочные стеснения больше всего раздражают) и в обращении начальства с заключенными. Нужно, однако, оговориться, что всякий тюремный режим уже сам по себе является такого рода вещью, что трудно не чувствовать оскорбления часто даже в тех случаях, когда начальство считает себя достаточно деликатным.

Когда надзиратель должен вести куда-нибудь арестантов, то он командует: «Пошел». Это слово до сих пор режет мне ухо; но лично ко мне оно не применялось, и я не имел случая протестовать. Один вновь поступивший надзиратель стал выговаривать это слово, как кричат на собак: «Пшел». Тут уже я счел нужным обратиться с жалобой к помощнику. Он, по обыкновению, ответил неумным и отчасти оскорбительным вопросом: «Вы слышали?» — и поспешил вон из камеры. Однако собачьи команды тотчас же прекратились. Отмечу, между прочим, что этот надзиратель потом оказался добрейшим и простецким парнем; очевидно, только ради развлечения он позволил себе грубость, не соизнавая ее значения.

Но вопрос помощника долго было неприятно вспоминать, хотя я знаю, что он был сделан без намерения оскорбить.

Надзиратели на прогулке ведут себя неровно. Однажды они все разом точно с цепи сорвались. Озлобленные крики их: «Не разговаривать!» — раздавались ежеминутно. Некоторые пошли дальше. Озябший арестант пошел с прогулки раньше общей команды «домой», а надзиратель кричит ему вслед:

— Только ворота ломаете!

Арестант, прыгнув через лужу, споткнулся, а шедший сзади улыбнулся.

— Чего смеешься? — слышится грубый окрик.

Меня начало мутить. Жизнь и без того обрезана до последних пределов. Что же будет, если пойдут напа-

дения даже из-за того или иного выражения лица? В голове уже складывается злое прошение о разъяснении, какое именно выражение лица полагается иметь арестованному в различные моменты тюремной жизни, так как требование подобного рода, обращенное к моему соседу, тем самым относится и ко мне. Во время этих размышлений новый окрик:

— Чего голову повесил? Идет, как овца!

Тут уже я не выдержал, остановился и начал резко говорить, что надзиратели не имеют права делать замечания по поводу того, что не запрещено. Надзиратель струсил и стал извиняться. В ближайшем своем письме, идущем через руки тюремной администрации, я рассказал этот эпизод и высказал предположение, что надзирателям приказали быть построже, а они поняли, что нужно быть поглубе. На другой день окрики на прогулке прекратились.

Младшие надзиратели часто меняются. Неприятно иметь дело с новыми, поступающими прямо из полков.

Все это — бывшие фельдфебели или старшие унтер-офицеры. Вначале они полагают, будто с арестантами можно обращаться, как с солдатами. Я сам прошел солдатскую службу, и такая грубость меня как-то уже не оскорбляла. Но она была неприятна, и я всегда спешил положить ей предел. Отвечать в этом случае резко на грубость я не считал всегда тактичным и предпочитал или делать разъяснение или передавать дело на рассмотрение начальства. Однажды я вручил новому надзирателю, для передачи старшему, записку, в которой значилось:

«Объясните подателю этой записки, что нужно обращаться вежливее».

Как и следовало ожидать, через минуту надзиратель возвращается:

— Чем я оскорбил вас?

— Тоном.

— То-оном?!

— Да. Нужно говорить со мною так, как вы сейчас говорите.

— Слушаю.

— Записка теперь не нужна: разорвите ее.

После этого у нас с ним столкновений не было.

С новыми надзирателями чаще всего приходится иметь дело на прогулке. Тут у нас нередко происходит борьба без слов. Меня раздражает, что эти новички стоят, выпучив неподвижные глаза, точно арестанты — низшие существа или неодушевленные предметы. Чтобы избавиться от этих неприятных взглядов, я сам, проходя мимо, начинаю смотреть этому надзирателю в глаза упорным и самым злым взглядом. Прохожу раз, другой, — надзиратель попрежнему стоит истуканом. Потом я замечаю в его глазах легкое недоумение. Затем он отвечает мне такими же злыми взглядами. Это решительный момент: чтобы не сморгнуть, я в это время иногда стискиваю зубы до боли. Дело всегда кончалось укрощением надзирателя. Он начинает мигать, сморкаться, косить глазами и, наконец, отворачивается в сторону. Цель достигнута: обращение меняется. Вместо предупреждения: «Не находите!» — я уже слышу:

— Господин, дозвоьте вам доложить, сделайте милость — не находите.

Однажды во время прогулки во двор въехали ломовики. Увидавши меня в вольной одежде среди серых арестантов, молодой парень-извозчик вскочил на телеге во весь рост и вскрикнул, обращаясь к своим товарищам:

— Барин-то, барин! Смотри, братцы, эй!

Надзиратели тотчас остановили этого чудака. В его восклицании было столько неподдельного изумления, что я долго не мог без смеха вспомнить о нем.

Чтобы полнее осветить общие условия моего пребывания в тюрьме, перехожу к вопросу о свиданиях.

Способность непрерывно злиться и негодовать в течение многих дней из-за неважных вещей, порой из-за совершенного пустяка, — последствие долгой одиночки и одна из тягчайших сторон ее. Ничем не отвлекаемая мысль сосредоточивается на полученной неприятности, и порою никакое усилие воли не помогает освободиться от влияния раздражавшего впечатления. Излить горе некому, а чтение в такие минуты не достигает цели: глазами читаешь, а неотвязная мысль сверлит свое. Мне

случилось сознательно прибегать к такому средству, как битье себя по голове, чтобы чувством физической боли выгнать мучительное сверло. И на мою долю выпало большое счастье: возможность изгонять сверло на свиданиях.

Тут дело не столько, пожалуй, в том, чтобы поделиться своим горем, сколько в возможности сорвать свое зло на другом человеке. До ареста я не знал за собою этой склонности. В одиночке же она развивалась не у одного меня. Склонность срывать зло развивается параллельно с ростом тюремной обидчивости. Сидящий в одиночке обижается искренне и глубоко. Например, по его просьбе приносят ему яблоки; они оказались слишком кислыми; это неприятно; через час это уже обидно; далее принос кислых яблок становится уже оскорблением, а дня через два вырастает уже в убеждение, что кислые яблоки принесены неспроста, а с коварным намерением расстроить нервы и довести человека до самоубийства или сумасшествия.

Человек, искусственно почти совершенно лишенный возможности проявлять свою волю, делается чрезвычайно чувствительным к малейшему противоречию в той сфере, где он еще считает своим правом распоряжаться. Поэтому посетители и вообще близкие люди должны как можно внимательнее, как можно пунктуальнее исполнять просьбы заключенных, как бы они ни казались мелкими. Из собственных просьб подобного рода могу указать на то, чтобы письма писались на почтовой бумаге с виньетками или картинками. Если бы эту просьбу пропустили мимо ушей, то я был бы, кажется, серьезно расстроен.

Особое счастье, выпавшее на мою долю, заключается в том, что ко мне на свидание все три года ходит Васса Михайловна М-ская — человек поразительно аккуратный, пунктуальный, спокойный и тактичный. К тому же она мне человек чужой, я могу срывать на ней зло без боязни серьезно огорчить ее и потому после свидания не мучусь причиненными ей с моей стороны огорчениями. А она, со своей стороны, никогда не показывает, что обижена, и не противоречит. Иногда приезжают в Петербург братья; им дают внеочередные, более

продолжительные свидания. Эти свидания волнуют меня гораздо сильнее.

Несмотря на увеличившуюся переписку, на получение газеты и на участвовавший приезд братьев, я с течением времени чувствую себя все более оторванным от жизни: тюрьма делает свое дело.

На втором году пребывания здесь (то-есть на четвертом году одиночки) я замечал в себе иногда большое равнодушие к свиданиям. Разговор в течение целого часа (на внеочередных свиданиях) стал утомлять. Чувствуется неловкость от отсутствия двойной сетки между мною и посетителем. Иногда я на свиданиях спокоен, а иногда вдруг, без видимой причины, насуплюсь, становлюсь резким и неделикатным. А после свидания казнюсь за это.





## V

### ВОСПОМИНАНИЯ. БЕЛЫЕ НОЧИ

Уже в самом начале второго года — несколько рановато — я начал бессознательно говорить о своем положении: «Не к покрову, а к петрову», то-есть не к темной осени, а к светлому лету моей жизни, к освобождению идет время: осталось меньше двух лет, а прошло, считая со дня ареста, уже почти три года. А с тех пор как задумал свою большую работу, явилась мысль о ценности времени. Сначала только сожаление о беспутно проведенном дне: немного помечтаешь, почитаешь газету, позубришь стихи, сходишь на прогулку, иногда на свидание — день и прошел. И сам себе удивляешься: это я становлюсь способным жалеть время, т ю р е м н о е время!

От мечтаний, конечно, не вполне освободился, а это кажется задачей совершенно безнадежной — ухитриться жить в одиночке без мечтаний; это столь же фантастическое мечтание, как и мечтание о шапке-невидимке. Но в первом году, по сравнению с теперешним, мечтания занимали слишком большое место. В конце концов стало тогда казаться, что я уже обо всем на свете перемечтал и пришел к краю пропасти, от которой нет спасения. Кризис, к счастью, разрешился поворотом к мысли. Раньше случалось неделю проводить без кни-

га, а теперь не бывает дня, чтобы хоть немного не почитал.

В это время, чуть ли не десятый раз в жизни, я перечел Щедрина «Господа Головлевы». И на этот раз это произведение произвело на меня совсем особое, потрясающее впечатление. Последняя глава, где описывается опьянение Иудушки своими мечтаниями, точно воспроизводила некоторые моменты моей собственной мечтательности. Я встряхнулся и только теперь мог сказать, что ожил. Мысль работает еще очень медленно, но тюремного времени, потраченного на думание, я, конечно, не жалею. Не ради результатов, а из сознания, что это процесс выздоровления. А с началом большой работы, с приступом к ней, я точно нашел себя: нашел область применения своих, — я не мог не сознавать этого, — сильно ослабевших умственных сил. В периоды отдыха от большой работы стала даже являться смелая мысль о переходе к более серьезному чтению, хотя бы специально ради гимнастики мозга.

Оставалась чувствительность к скрипу пера: из-за нее приходилось иногда приостанавливать работу или письмо. Чернильница была широкая, низкая; перо обязательно скользнет по стеклу и режет по сердцу. Заменял чернильницу высоким пузырьком, чаще стал менять перо, забивал уши ватой — как будто стало легче. Удалось освободиться от раздражающего шаркания ног на прогулке: гуляю со «слабыми» по распоряжению врача. Нас бывает от шести до девяти человек. Таким образом, я всегда могу держаться подальше от других; позволяется и сесть на скамейку, когда устанешь или когда пожелаешь пропустить мимо себя скупившихся сзади людей.

«Слабые» — это по большей части слабоумные или же тронувшиеся в тюрьме под влиянием одиночки. Первые дни такое общество было неприятно, а потом не замечалось.

Особенно хорошо стало, когда уже оказалось возможным работать с открытой форткой: вливался освежительный холодок, а с ним и уличные звуки, вытесняющие звуки тюремных свистков. Но это в ясную погоду, а в хмурюю голова временами склонна была

вновь слишком поддаваться мечтаниям, особенно в моменты реакции, после напряженной работы. Но любопытно, что и в этот период тюремной жизни случалось спрашивать себя с изумлением:

— Неужели я в кутузке? Вот странность!

Это случалось, когда увлечешься книгой и вдруг резко оторвешься от нее. Последнее время такой эффект получался от Гоголя, от Диккенса и от «Векфильдского священника». Доктора Примроза (из «Векфильдского священника») я долго не мог вспомнить без того, чтобы не расхохотаться вслух; Диккенс заставлял меня хвататься за бока. Временами, впрочем, смешливое настроение приходило и само, без помощи книги: я ходил по камере и вдруг раздражался громким хохотом то по поводу каких-нибудь мелочей, а то и без всякого повода. А потом хохотал при мысли: «Какой же, однако, я дурак: сижу один и смеюсь без всякой причины!»

Я объяснял себе эту смешливость тем, что нервы становятся здоровее, радуются этому и передают свою радость мозгу. Что касается желудка, то его радость стояла вне сомнений, так как аппетит был волчий.

В марте зима только при появлении небесного начальства начинала плакать и прикидывалась умирающей. А чуть солнце за угол, — зима тотчас вновь спешила гвоздить, точно хотела навеки заковать в кандалы несчастную землю. Подул резкий западный ветер, пронизывал до костей, а оттепели не принес. В городе на улицах, говорят, давно уже весна, но весна дворницкая. Одно было у меня утешение — кустик редиски; я положил ее в воду, и листики из анемичных превратились в здоровые, темнозеленые. Я ждал уже появления второй пары листьев, но растение погибло. Вскоре мне удалось заменить редиску кусочком дерна, скраденного на прогулке и помещенного в жестянку от сардинок; туда же положено было раздобытое контрбандой зернышко гороха. Ожидание всхода гороха несколько волновало меня.

Весна вступила в свои права. Я следил за черным дыханием фабрик: оно сперва стлалось низко, по направлению к югу, а затем поднялось кверху и потяну-



лось к северу, как перелетные птицы. Вскоре и лед на Неве исчез на треть ее ширины. Наконец начался и полный ледоход. Это единственный период, когда Неву не волнуют пароходы и зеркальная поверхность ее удивительно четко отражает и прибрежные здания и уличные фонари. Получается очень красивый вид.

Мой лужок в коробке от сардинок поднялся на славу. Уже цветут на дворе лютики и готовы распусться одуванчики. Появились мухи, потом я увидел первую бабочку, робко порхавшую над лужайкой; комар пытался проникнуть в камеру, но я прогнал его. Появились молодые неуклюжие голуби, один из них должен быть сизым, но, вероятно, у природы краски не хватило — он был так беспорядочно вымазан и подкрашен.

В пасхальную ночь надзиратели будили арестантов, крича через дверь: «Приготовьтесь в церковь!» Я тоже поднялся, хотя в церковь решил не идти: там будет все начальство и их разряженные семьи. Лучше не видеть их. У меня открыли уже окно, и приятнее походить по камере или постоять у окна. Какая богатая контрастами тема для поэта! Петербург залит огнями; на улицах возбужденная и радостная толпа. Здание тюрьмы глядит на эту суету тысячью внезапно осветившихся глаз, звенят ключи, как зубы скелета. В окно вливается свежая воздушная струя с перезвоном бесчисленных колоколов. Заключение, измученный годами одиночки, пытается проникнуть взором в этот таинственно-заманчивый шум и чувствует... Не знаю, что полагается в это время чувствовать по мнению поэтов. Что же касается меня, то я почувствовал только стремление ко сну. Делал усилие, как в детстве, чтобы веки сидели врозь, но они не послушались. Я не слышал, как арестанты прошли в церковь.

На пасху меня вызвали в канцелярию. Дежурный помощник произнес речь:

— Вот вам принесли провизию и гиацинт. Провизию вам передадут, а цветок я не имел права пропустить и обратился к начальнику, который объяснил, что цветов вообще не полагается приносить в тюрьмы, но что, стараясь не делать никаких стеснений арестантам,

он в этот единственный раз, в виде исключения, по случаю праздника позволяет пропустить цветок.

Теперь, следовательно, у меня в коробке от сардинок луг и огород, обещающий хороший урожай гороха, а в горшке, сверх того, и цветник.

Май был хорош. Помню особенно один прелестный день, когда небо было подернуто нежной беловатой дымкой и оттого казалось еще ослепительней. Зелень заметно прибавлялась. За рекой уже можно было различить только что распустившиеся деревья с их чистой и юной листвой. Нева блестит и играет.

Замерли на мгновение неугомонные колеса, за Невой несется всадник, и ясно слышны удары подков.

Не хотелось отрываться от этого редкого вида, чтобы итти на прогулку.

Но и гулялось в тот день как-то особенно бодро. Восточный ветер нес приятную прохладу. Все арестанты, точно сговорившись, прибавили шаг. Давно не приходилось ходить так быстро и с таким удовольствием. Перепархивали бабочки по гуще прежнего блестящим одуванчикам. Трава будто светилась изнутри. Елочки только что раскрыли свои большие почки, казавшиеся еще вчера ненужными наростами. С криками гоняются друг за другом и полощутся в пыли забавные воробьи. Кажется, без конца ходил бы по кругу, и никогда еще команда «домой» не была так досадна.

Томительны в тюрьме летние дни — сплошные дни, без вечеров. Но белые ночи я любил на воле, люблю и здесь. Хотелось бы поскорее дотянуть до того часа, когда двор освободится от гуляющих арестантов и свободнее будет смотреть в окно.

Вот и прогулки все кончены, и надзиратели ушли. Встал на табуретку у растворенного окна: белые стены, жизнь без жизни, — подальше от них! Тюрьма хочет задушить меня, — так нет же! Назло тюремщикам, сегодня мой вечер. Я насмеюсь над ними, я уйду от них. Моей насмешкой будет мир души моей, взятый с бою. Я уйду только к окну, но буду далеко от вас. Смотрите: даже тюремный двор шепчет сегодня о жизни, любви и молодости. Не тюрьмою веет от вечерней зелени лужайки, и цветы говорят свое, не казенное. Опять здрав-

ствуйте, молодые елки! Я люблю вашу весеннюю, иссиня-металлическую хвою: в ней молодость — сталь и нега. Вместе с благодатным вечером задумчиво улыбаются мне цветочные гряды вдоль манящей дорожки.

Вот и люди. Они в казенном платье, но это уже не арестанты. Вот один из них приставляет к водопроводному крану огромный чайник, прилаживает сетку и поливает цветы. Разве это арестантское дело? Не спеши! Ведь так хороши эти минуты нетюремного труда под свободным небом!

Вдруг человек бросает лейку, крадется, нагибается к елке.

Тревожно зачирикали воробьи. Один из них закричал неистово.

— Поймал! — восклицает человек и бережно садит воробья обратно в его приют под елкой.

Подлетают на ночлег запоздавшие голуби. А вот один, бедняжка, совсем молоденький, прижался у ограды: он болен. Он не в силах лететь и умрет здесь, как многие переступившие порог тюрьмы.

Выходят новые люди и лениво, не спеша, выпалывают траву на мостовой вокруг лужайки. Шутки, смех. Важно, но без окриков и добродушно прохаживается старший надзиратель. А за оградой дышит и волнуется Нева. Темная водокачка и стройные фабричные трубы молча пестреют на догорающем просторе. Таинственно светится купол Таврического дворца. Не Потемкин ли подновляет там склепы? Или же загораются там огни новой жизни? На прибрежном откосе за Невой зеленые полосы сбегают к воде, где неслышно плеск ее поет мне о тинной речке под меловыми обрывами и о пугавшем нас, детей, мельничном омуте.

Оживляются в воображении поблекшие лица, — как давно это было!

А будущее, — где ты? Берег за дальним туманом. И все-таки тюрьма живет только будущим, только мыслью о воле. Сегодня сосед по прогулке шепнул украдкой:

— Последний раз гуляю. Завтра за ворота. Ох, как засмолю! Три года не курил, а забыть не могу. Ближе

срок, больше тянет. А ведь все это куренье одни пустяки, баловство.

И у меня мысль о папироске неразлучна с мыслью о воле. Закурю: а что будет потом? Что такое освобождение? Оно — движение, воздух, простор. А кроме того? Что-то далекое, неизвестное и как будто чуждое. За оградой, на воле, среди дров на барке движутся фигуры в красных рубахах. Люди это или куклы? Какие у них радости? Есть ли цели? Скройся сейчас в волнах одна из этих фигур, и я остался бы равнодушно спокоен. А между тем ведь это воля, они вольные люди.

Раздавшиеся на соседнем дворе звонкие голоса детей вернули меня в даль прошлого. Вижу себя ребенком ночью в саду, где так много чудилось невиданных и страшных великанов. Свисток парохода грубо спугнул мимолетную грезу. Слышится гармоника, знакомый мотив. Помню: и среди молодежи в годы упадка слышалось когда-то это бессмысленное «Ой, дербень-дербень Калуга». А что теперь поется на воле? Сказалось ли лучшее время в новых песнях? Вошла ли в свежую песню неиссякаемая вера, чтобы сердце от нее замирало, чтобы жажда света, воли и подвигов охватывала всего человека? Грянь громче, свободная песня! Долети к нам через каменную ограду, разбей железные решетки.

Придет и наше время: и перед нами раскроются цепкие двери тюрьмы. Вокруг будут люди. Человеческое слово приветания перестанет быть преступлением. Но когда это будет? Так медленно идут дни, так много их. Скорее пронесись грозою, новая песня! Что, если придет вдруг к стенам толпа с этой пеоней? Не лейтесь, слезы восторга и любви: ведь это только мечта. Не разорвись, сердце. Забудь о воле, найди силы жить тем, что есть.

— Ты что? Спать не хочешь, что ли? — грубо кричит со двора незнакомый надзиратель. Я молчу. — Говорю: спать не хочется? — Тоже молчание. Надзиратель доносит. Стукнула дверная фортка. Я жду не оборачиваясь. Кажется, даже коридорному надзирателю стыдно стало быть палачом моего вечера: он молча захлопнул фортку. Тогда я оглянулся внутрь камеры: в ней голо,

уныло и мрачно. С высоты табуретки камера представляется ямой, черный пол делает ее бездонной.

Нет! Хотя бы это стоило жизни, но сегодня я не отойду от окна. На волю! Как узник в песне... Осужденный на долгие годы страдания, он словно впился в тишину. Его измученное сердце так жаждет свободы! Выстрел... всему конец! Что ж, пуля так пуля, я готов! Смерть вблизи не пугает: сумей только порвать связь души с миром. А у меня связь давно порвана.

Однако знаю: приблизится день освобождения, и воскреснет связь с миром. Последние дни тюрьмы — самые страшные дни. Недавно арестант, здоровый на вид, умер здесь, в тюремной конторе, за минуту до освобождения: сердце не выдержало. Никакое сердце не вынесло бы постоянного ожидания, что вот-вот воля. Долой же неотвязную мысль о ней!

Какая прелесть! Желтовато-багровыми лучами догорающего солнца, на мгновение вырвавшегося из-за туч, осветились и дома с длинными рядами окон, и купол дворца, и белый Смольный собор. Даже в камере стало веселее от лучей, отраженных облаками. Торжественно краснеют фабричные трубы. Тень от тюрьмы протянулась через Неву, легко избежала на набережную, затемнила один за другим все ряды окон и, скользнув по крышам, погналась за мечтою в далекое поле. Был последний звонок; пропеты молитвы; тюрьма засыпает.

По двору пятится задом надзиратель, вперив взор в окна.

— Спи ты, эй! — кричит он неосторожному арестанту. На меня смотрит свирепо, но молчит. Я жду с любопытством: будет стрелять в меня или нет?

Освободившись от пароходов, Нева разгладила морщины и кинула в свою глубь прибрежные здания. Но я не одинок. Привет тебе, паучок. Как упорно работаешь ты на оконной решетке, воюя с ветром! Муха легко разорвала хитрую сеть. Вот мертвая мошка, бери ее!

Паук присмотрелся; потом быстро приблизился, схватил лапами мошку и принес ее в центр сети, в свою

кладовую. А как справишься ты с каплей воды? Ты понес этот хрупкий тяжелый шарик и не раздавил его, — bravo! Вот и гость — комар. Он мягко, почти неслышно прикасается к моей руке — когда-то к ней прикасалась рука человеческая — и впился жалом. Потом он напряженно выпрямляет лапки, краснеет, делается прозрачным и молча, грузно улетает.

Какая тишина! Боясь нарушить торжественность ночи, бесшумно прошел пароход. Судно с подобранными парусамн лениво проплыло по течению, бортом вперед. Попрятались неугомонные дрожки. И в тюрьме — тишина кладбища. Пятьсот человек сидят по клеткам — и ни шороха! Царство полярной ночи. О чем думают те, кто не спит?

Тяжела первая тюремная ночь. Связь с миром резко оборвана — это рассечен ваш мозг, ваши нервы. Знаешь, что кончено, и не можешь не продолжать мысленно: вчерашний день упорно живет. Ждешь бессознательно: откроется дверь, и сгинет минутный кошмар. Послышатся шаги, шелкнет замок, — не пробуждение ли это от кошмара? Нет, это тюрьма вступает в свои права: вас фотографируют, меряют, взвешивают, считают зубы, залезают в душу грязными руками. А вчерашний день все еще живет: ставит вопросы, волнует, мешает ночному забвению.

Какова будет последняя ночь?

За рекой в окне засветился огонек — свидетель пошлой обывательской заботы или пошлого отдыха. Бросаю свое презрение вам, вольные кровопийцы и вольные бессознательные предатели! Не надо мне вашего уюта и покоя! Не надо... Впрочем, не обманываю ли я себя? Что, если бы совсем близко случилось увидеть человеческое жилище? Выжил ли бы я, вернувшись опять в клетку? Вспоминаю, как в прошлом году мне случилось провести сутки в другой такой же клетке. Тогда в окне напротив я увидел белые занавески, скрывавшие внутренность комнаты. Они поздно отдернулись. Солнце уже повернуло, и я не увидел комнаты. Но я никогда, кажется, не забуду этих занавесок. Как раз в тот же день я получил стихотворение поэта-каторжника, и бурные рыдания потрясли всего

меня. И стыдно их и легче от них. Весь день я повторял  
вслух слова поэта:

Спускалась ночь. Кричала где-то птица.  
Валился снег на свежий волчий след.  
Мечтатель, стой! Прочна твоя темница:  
На родину пути отсюда нет!

Мучительный день, бесконечно мучительное воспо-  
минание.

Мрак сгущается. Летучие мыши пролетают перед  
самым окном. Робкая песня скоро замирает. Сонный  
паук едва колеблется ветром. Фабричные трубы посте-  
пенно уходят во мглу. На барках говор. Я рад человече-  
скому голосу, но удастся различить только бранные вы-  
крики. Лениво залаяла вдали полусонная собака. Опять  
крадется задом надзиратель, стараясь уже не смотреть  
на меня. Резко свистнул пароход, точно детский крик  
безумного ужаса. Я вздрогнул. Блеснула звездочка...





## VI

### «СЛАБЫЕ» И СЛАБОУМНЫЕ. НЕУДАЧНОЕ ЦВЕТОВОДСТВО. ПОЛОВИНА СРОКА

Лица, судившие о моем настроении по письмам, определяли его летом второго года как «бодрое и устойчивое, но грустное». Фактически дней уныния почти не случалось, смеялся я часто, а улыбался еще чаще, даже сам с собой, когда думал или вспоминал о смешном; но за всем этим чувствовалось, что подоплека слегка пасмурная. Заметил, что быстрее прежнего утомляюсь разговором, даже во время коротких очередных свиданий. Когда-то, как многие заключенные, стремился задержать в камере вошедшего надзирателя, чтобы перекинуться лишним словом; теперь же присутствие человека в камере стесняет меня, а разговоры кажутся неинтересными. Последнее, может быть, зависит и от того, что теперь «большая работа» и некоторые другие вопросы общего характера слишком часто захватывают меня.

Почти все лето меня отправляли на прогулку со «слабыми». Она бывает два раза в день, когда отгуляют здоровые: перед самым обедом (от 11 до 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часов) и под вечер (от 5 до 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часов). Зимой вечерняя прогулка со «слабыми» кончается раньше, но все же получается ощущение вечера, проводимого отчасти вне камеры, на свежем воздухе. Для «слабых» выносят ока-



мейки, — ходить все время не обязательно; а чтобы сесть на скамейку, позволяется пройти к ней не по окружности, а по дорожке, пересекающей круг. Надзирателей на прогулке «слабых» меньше — двое, а иногда даже только один, поэтому чувствуется менее напряженная тюремная атмосфера и легче перекинуться словом.

Мне уже пришлось упомянуть о том, что среди «слабых» большинство — слабоумные и сумасшедшие. Помешательство в здешней тюрьме — самое обычное дело. При мне политических было совсем мало, и все же сошли с ума двое: Людвиг Родзевич, поляк-интеллигент из Домброва, и крестьянин литвин Трусос, посаженный административно на год за контрабандный провоз молитвенников и евангелий на литовском языке, напечатанных латинским шрифтом (в России допускались только напечатанные русским шрифтом). Помешавшихся уголовных, если они не буйные, в больницу не отправляли; как объясняли надзиратели, это делалось из экономии, так как за помещение арестанта в городскую больницу тюремное ведомство должно было платить. Кроме заболеваний в тюрьме, нередко были случаи, когда суд приговаривал к заключению людей явно невменяемых, особенно из простонародья: таких всегда можно было встретить в любой тюрьме.

Например, у нас Филипп. Он таким и попал в тюрьму: на вид мальчик, совершенный скелет; взор всегда устремлен прямо вперед, без выражения; никогда не заговаривал сам, а на вопросы отвечал редко; ел содержимое парашки; часто раздевался догола.

— Что ты делаешь, Филипп?

— Купаться хочу.

Если надзиратели обижали его, то спускал с себя брюки и показывал им голую спину; а одному на шипки ответил пощечиной, за которую его, конечно, не подвергли взысканию. На прогулке часто идет-идет по кругу и вдруг начнет двигаться по прямому направлению:

— Куда ты, Филипп? Назад!

Филипп не слышит или не обращает внимания;

надзиратель срывается с места, догоняет его и возвращает на круг.

Другим моим товарищем по прогулке был древний старик, ничего не слышавший и явно выживший из ума. Из-за него случилась маленькая история. Он был настолько слабоумен, что сам не мог найти дверь, через которую нужно возвращаться с прогулки. Надзиратель, вместо того чтобы подвести его, толкнул кулаком в шею по направлению к двери, так что старик чуть не упал. Я устроил скандал. Начальство отнеслось к моему заявлению внимательно.

Был один торговец лет тридцати, помешавшийся уже в тюрьме. Он всегда был уверен, что с прогулки пойдет сейчас не в камеру, а на свою квартиру, так как пора уже кормить канареек, которыми заставлен у него будто бы весь зал.

Далее, был очень красивый молодой арестант. На воле его профессия заключалась в том, что переодевался уличной женщиной; мужчина, увлекшись красотой мнимой девушки, приводил его к себе на квартиру, а «девица» искала момента, чтобы украсть что-нибудь и скрыться. На прогулке он появлялся недолго, скоро попал в больницу и умер в день окончания срока, как говорили, от чахотки. Был еще один, покушавшийся в тюрьме на самоубийство. Он порезал себе горло, а надзиратели уверяли, что он «дурака ломал».

Среди непомешанных обращали на себя внимание двое: старик и молодой.

Старик с очень длинной седой бородой и без кровинки в лице держался очень прямо; казенные бушлат и полушубок он ухитрялся носить так, что они производили впечатление сшитого по заказу мундира. Говорили, будто это бывший полицейский, не то начальник, не то помощник начальника одного из участков в Петербурге. Однажды привели в участок пьяного извозчика, а старик «раза два стукнул его». Но при вскрытии трупа извозчика следы «стукания» были слишком явны, и старик угодили в арестантские роты, а по слабости здоровья помещен в тюрьму. Долго сидел под следствием. Жена и две взрослые дочери

вначале навещали, затем бросили. Теперь очень нуждался. Тюремное начальство временами заходило к нему побеседовать и помогало деньгами. У старика водянка, и, видимо, ему уже не выйти из тюрьмы.

Молодой был страшно болтлив. Но разговаривать с арестантами нельзя, и он избирал себе жертвой надзирателя: остановится и говорит без конца. Надзиратель требует: «Проходи», — отмалчивается, обрывает, в то же время опасливо поглядывая по сторонам, нет ли начальства; но затем незаметно для себя, намолчавшись за день, надзиратель и сам втягивается в разговор, иногда на все время прогулки.

Все арестанты во время прогулки летом часто поглядывали на окно моей камеры, откуда сквозь решетку тянулись яркокрасные пучки цветов. О моем цветоводстве стоит рассказать подробнее.

Гиацинт скоро отцвел. А мой горох все тянулся вверх без бутонов, когда, по сведениям «Торгово-промышленной газеты», горох был уже в цвету даже на полях Пензенской губернии; в конце концов, однако, и на моем горохе появился один стручок; я съел его, и тем окончилось огородничество. Но еще весной мне было доставлено несколько семечек флокса и астры. По мере того как они росли в горшке из-под гиацинта, в душе возрастало стремление к расширению площади землевладения. С этой целью пробуравил дно чайной белой фаянсовой кружки, а для чая удалось купить новую, раскрашенную. На прогулке для «слабых» можно было без труда произвести захват казенной земли. Луговодство в коробке от сардинок было ликвидировано, и во всех трех «полях» развивалось цветоводство.

Всходы флоксов не обещали урожая: ростки были чахоточные и долго не могли сбросить с себя твердой шелухи семечка. Это меня беспокоило и волновало, но я не решился прибегнуть к механическим средствам и оказался прав: три ростка флокса скоро переболели и затем дружно двинулись в рост; затем погиб еще один, но я был рад и двум оставшимся. С астрами дело шло удачнее: их было семь штук. С каким нетерпением ожидал я появления каждой новой пары ли-

стиков! Утром, еще не успев одеться, прежде всего бросаешься к цветам; вечером, перед сном, последняя мысль о цветах. Днем раз двадцать подойдешь к цветам: нет ли чего нового? А куда их рассаживать и пересаживать? На обдумывание этой задачи уходили чуть ли не часы. С течением времени астры стали смущать меня: две из них дали хороший стебель, а прочие пять едва поднялись над землей и уже распускают листья веером, как капуста, которая не хочет кочаниться.

Какая радость была, когда распустились первые два цветочка флокса, а впереди их ожидалось еще, по моему счету, не менее двадцати: красненькие, ужасно миленькие! Второй стебель флокса долго болел, но и он выжил: снизу тонкий, сморщенный, будто подгнивший, а повыше — толстый-претолстый, здорового зеленого цвета, а на нем уже есть бутоны. Астры же продолжают смущать и даже раздражать: лезут вширь, совсем без стеблей, а листьев куча; лишь прежние два экземпляра вытянулись вверх, и на одном из них обозначился единственный бутон.

Понемногу флоксы покрылись густыми пучками цветов, видных издали: на одном стебле — красные, на другом — малиновые. Зацвели и астры, и почти все оказались разноцветными: два куста красных, два белоснежных, один бледнорозовый, один лиловый и один синий. Те астры, что смущали меня, оказались карликовыми, а цветы на них не хуже, чем на высокорослых. Все стояло днем между оконной рамой и решеткой. Как ярко, как веселы были и астры и особенно пучки флоксов, когда солнце стояло прямо против окна и когда любишь ими со двора! А во время работы я иногда расставлял их перед собою на столе, чтобы не разлучаться надолго и не отрываться от дела.

Забегая несколько вперед, расскажу здесь же о трагическом финале всех этих радостей. Я был совершенно уверен в своих землевладельческих правах: сообщал о развитии хозяйства в письмах, идущих через тюремное начальство и прокурора; устраивал публичную выставку растений; а когда цветов стало много,

то срезывал их и передавал на свиданиях посетительнице через дежурного помощника.

Но в первых числах октября вместо Вассы Михайловны пришла на свидание одна девица, а с этим народом всегда осложнения. Офицер-помощник, передавая ей цветок, отпустил неуместный комплимент и получил суровый отпор. Тогда он обиделся, не отдал цветка и побежал к начальнику тюрьмы жаловаться, а тот, оказалось, каким-то чудом не знал до сих пор ничего о моем хозяйстве, и заварилась каша. Начальник обрушился на помощника, заведующего нашим корпусом. Этот сослался на данное самим начальником разрешение пропустить гиацинт на пасху.

— Не может быть, чтоб эти цветы росли с пасхи.

— Цветы не эти, но горшок и земля те самые.

— Откуда же эти цветы?

— Выращены из земли.

— Как могли попасть к заключенному семена?

— Присланы при письме, прошедшем через руки прокурора.

Я присутствовал в роли свидетеля при этой передраге. После ухода начальника и помощник и старший надзиратель имели обиженные физиономии, но не могли делать и не делали мне никаких упреков. Помощник сказал:

— Зачем запрещать цветоводство? Что может быть невиннее этого занятия?

Я был уже в камере, когда вошел старший надзиратель и с извинением сказал, что цветы придется отобрать.

— Уносите! — ответил я коротко и отвернулся к стене, чтобы не видеть гибели дорогих существ. Только когда надзиратель вышел и дверь захлопнулась, я повернулся от стены, взглянул на осиротевшее окно и уткнулся в книгу.

Возвращаюсь к летнему периоду жизни.

Много волнения и колебания вызвал вопрос о переводе в Москву. Появилось новое правило: лица, пробывшие здесь в одиночном заключении два года, переводятся на остальное время в новую московскую тюрьму (на Таганке) для работы в общих мастерских.

Сделано это в видах «смягчения» одиночного заключения, но будет ли перевод для меня улучшением? И если нет, то возможно ли остаться здесь?

Прежде всего явилось опасение: ведь чем ближе срок (хотя бы перевода из одной тюрьмы в другую), тем больше волнует ожидание, и в случае перевода придется пережить это волнение дважды, а мне важнее всего спокойствие. Но, с другой стороны, необходимо знать условия жизни там. Собираю сведения. Построена Таганская тюрьма, как и здешняя, в виде креста, порядки в общем те же, что здесь; камеры одиночные; только для работы и на рабочие часы приспособлены общие помещения. Но так как политических, кроме меня, там в это время не будет, то мне придется работать или одному, или с уголовными. Это не очень заманчиво. Лучше остаться здесь, где я привык и к Неве и к порядкам, имею правильные свидания. Затем, есть масса мелочей, приобретаемых только долгим сидением в одной тюрьме: газета, лишние письма, чайник, тетрадки, карандаш. На новом месте, как всегда, придется вести войну с тюремными юпитерами и осаживать их величие. Вообще перевод из тюрьмы в тюрьму похож на новый арест: из привычной обстановки бросают тебя в новую, где нужно сызнова приспособляться и приспособлять.

Наконец здесь у меня полная свобода внутреннего мира, а там придется размениваться на мелочи; здесь я привык к одиночке, а там придется привыкать быть с людьми.

Все это, кажется, с очевидностью говорит за оставление в Петербурге. Но в другие моменты с не меньшей очевидностью становится ясно, что дорожить Петербургом не из-за чего, что нужно желать перевода; в моей жизни и теперь и впереди (в ссылке) такое убийственное однообразие, что нужно цепляться за всякий случай перемены, хотя бы не к лучшему. А мелочные здешние льготы ничего не стоят. Ведь и при переводе сюда из предварилки я ожидал встретить порядки, заведенные при Сабо; но оказалось совсем не то, чего ждал; может быть, и в Москве условия изменятся к лучшему. И вдруг выскакивает еще довод

в пользу перевода: может быть, дорогой удастся покурить.

Позже узнаю, что в Таганской тюрьме свидания, как в Петропавловке: раз в две недели, только с ближайшими родственниками в присутствии офицера. Из съестного можно получать с воли только чай и сахар. Работа в мастерской, где семьдесят человек, то-есть, в сущности, одиночная, ибо очевидно, что разговоры должны ограничиваться фразами относительно работы. Но все эти неудобства кажутся мне мелочами по сравнению с громадным фактом — нарушением однообразия жизни. В Москву! Я уже радуюсь, что так скоро переезд, что я опять увижу свои вещи, сданные в цейхгауз, в том числе порттабак и мундштук, с которыми когда-то простился на три года.

Только вот что смущает: если работа в общей мастерской, то, значит, вечером, перед разводом по камерам, обязательно каждого обыскивают. Здесь через окно я иногда наблюдаю эту мерзкую процедуру обшаривания. Придется протестовать против нее, и борьба предстоит очень серьезная.

Зато узнал, что в Москве разрешается курить. Бот счастье! Но только добавили маленькую подробность: курить можно сигары и трубки, но не папиросы, так как бумага может быть употреблена для переписки. Эта подробность полностью осветила для меня всю сущность московских порядков: мелочных, придирчивых, глупых. Вспомнилась сейчас же и анекдотическая придирчивость московской прокуратуры при контроле писем: например, не пропустили письма с сообщением, что собака арестованного скучает по нем, на том основании, что «под собакой мог подразумеваться какой-нибудь человек». И тут же предстоящий год пребывания в Москве показался не мелочью, а сроком, совершенно достаточным, чтобы извести человека глупой и мелочной придирчивостью. В конце концов я написал в главное тюремное управление прошение дословно следующего содержания: «В январе я могу быть переведен в Москву для работы в общих мастерских; прошу не применять ко мне этой льготы». Ответ был благоприятный.

Июль всегда для меня был самым скверным месяцем в году; всегда он был чересчур длинным, мертвым, душным и тоскливым. В тюрьме это чувствовалось еще сильнее, и страх перед июлем начинался задолго до его наступления. Возможно, что предвзятая мысль о тяжести июля уже и сама по себе влияла на июльское настроение. Во всяком случае, нужно быть готовым к июлю, и я стал готовиться заранее: откладывал на июль покупку новых книг и заказ платья тюремному портному; придерживался в июне со своей большой работой, чтобы с тем большим аппетитом работать в июле, и т. п. Опасаться июля следовало уже и потому, что с окончанием месяца совпала важная дата моего календаря. Об общепринятом календаре я нередко забывал, а свой помнил твердо. Успел отправить в вечность 29 марта, когда оставалось впереди звериное число: шестьсот шестьдесят шесть дней; отпраздновал 24 апреля: трехлетие со дня ареста; проводил и 24 июня, когда исполнилось со дня ареста тридцать восемь месяцев, а осталось девятнадцать, то есть ровно вдвое меньше. В июне же началась срединная сотня отсидки: прошло пятьсот дней с хвостиком и осталось тоже пятьсот дней с хвостиком. Эти хвостики казались такой мелочью, что на них не стоит обращать внимания. Поэтому отнесся было к предстоящей 24 июля середине срока с легкомысленным пренебрежением, как к должному и почти уже совершившемуся; вместо того, как о благодати, стал мечтать о сентябре: тогда исполнится сорок с половиной месяцев со дня ареста и останется шестнадцать с половиной месяцев, то-есть в барышах будет двадцать четыре месяца, или ровно два года. Впрочем, и этот срок, в сущности, забава. Ибо не по вычислениям дней, а всем существом своим я чувствовал, что времена переменялись, что теперь уже у меня не прошлогоднее положение. Иногда я даже удивлялся: неужели приближается половина? Когда же она подкралась? Виною этому было то, что весной время прошло уж очень хорошо, и я нередко думал: «Вот если бы и остальные двадцать месяцев прошли так же легко!»

Начался июль бодро. Своевременно принесли



письма. Покупка книг доставила массу удовольствия. Чтение ладилось. Цветочки быстро развивались. Лишь мгновениями являлось то специфическое настроение мертвенности, которому я дал название июльской тоски; но усилием воли удавалось тотчас подавлять это настроение. Поднимало дух и то, что половина срока, в сущности, уже совершившийся факт: стоило ли принимать во внимание каких-нибудь две-три недели?

Наступили очень жаркие дни. Заниматься серьезно стало трудно.

12 июля, в первый раз за лето, зажглись фонари за Невой. Я приветствовал их как первых предвестников осени. Белые ночи много дали мне, но все же я буду рад их прекращению, как показателю того, что время не стоит на месте. Прошел хороший дождь, освежил на время, но на другой день его уже как не бывало. Ищу пожелтевших листьев, но тщетно: все зеленеет. Вторично выкосили лужайку, и от травы слегка отдает прелью, чего не было при весеннем укосе. Все же я украдкой стащил клочок сена, сунув его в платок, а затем в карман. Надзиратель заметил это и сказал:

— Для запаха?

Запах сена обычно воскрешает впечатление раннего детства и лугового простора.

Жара продолжалась. Чаше стали появляться мгновения «июльской тоски», и напряженно приходилось следить за собой.

Еще целая неделя тяжелого июля была впереди. Не знаю, как я чувствовал бы себя, если бы не случилось события экстраординарного. 28 июля, по случаю ремонта, меня перевели в камеру № 924, ближайшую к Неве, на шестом этаже. Едва закрылась дверь, как бросаюсь к окну и замираю от восторга. Какая бездна новых впечатлений!

Было раннее утро. Косые лучи солнца весело играли на яркозеленых перилах Литейного моста. Вдоль Невы двигался громадный пароход с несколькими мачтами. На мосту можно было различить возы, а позже — конки и еще какое-то движение. По левому берегу блестел бесконечный ряд красивых домов.

Вдали — крепость, а еще дальше, совсем в тумане, — колоннада Биржи на Васильевском острове.

Я перевел взор вниз. Тут дома для тюремных служащих: совсем почти под окном миниатюрный садик, старательно вычищенный. Виден дворик, через который проходят посетители на свидания. Дальше — прогулка первого корпуса. Почти прямо сверху вниз видна часть набережной и откос к Неве. Живые люди так близко! У воды удят двое мальчуганов. Прохожие подолгу останавливаются возле них. А про меня и говорить нечего: ведь столько времени не видал я так близко ни вольной жизни, ни такого широкого горизонта! Весь день провел у окна.

А вечером от фонарей через всю Неву легла огненная колоннада и даль за мостом замыкалась волшебной огненной стеной. Было так хорошо, что я попросил было об оставлении меня здесь на все остающееся время. Но уже на другой день радость сменилась тоской, блеск раздражал, аристократические дома стали вызывать возмущение. Я поспешил взять обратно свою просьбу. Ближе сердцу восточная, демократическая сторона, с ее вечно трудящейся водокачкой, с фабричными трубами и сенной пристанью. Под вечер меня перевели обратно.

Здравствуйте, флоксы и астры! Не пострадали ли вы, бедняги, без поливки? Привет вам, друзья мои, голуби: не обижены ли вы, что оставались без корма? Как поживаешь, лужайка? Ты и не заметила моего отсутствия, занятая своим делом: у тебя заколосились стебли овса и расцвели два подсолнуха. А ты, водокачка, дымишь попрежнему, как всегда? Прибавились две сенные барки: поздравляю с приездом. И фабричные трубы все на своих местах! Я рад всем вам. С вами я скоротал первые полтора года, с вами же благополучно доживу срок: ведь осталось меньше, чем прошло. Теперь уже... что такое? Да неужели еще июль? Вы, полонившие меня стены, когда же покину я вас?

Вот и август! Только что проснулся — первая мысль о нем. Прошло семьдесят девять недель, осталось семьдесят семь: разница уже две недели. Черное дыхание фабричных труб тянется длинной полосой

с северо-востока; через окно врывается прохладная струя и обливает обнаженную грудь. По телу пробегает приятная дрожь, — первая после душных дней тоскливого июля. Небо пасмурно, и по Неве бегут мрачные волны. Как хорошо! Всей грудью вдыхаю свежую влагу. Решаю сейчас же приняться усиленно за большую работу: непременно нужно ее кончить раньше, чем заставят вновь клеить глупые коробки. Даже пальцы как-то сразу стали здоровее, задвигались легче. Успех в работе явился новым источником радостного возбуждения.

Через неделю положение чуть было не испортилось — возобновилась скверная погода: небо очистилось, ветер подул с юга. Казалось, что это июль вернулся, чтоб еще раз наделать мне неприятностей. К счастью, он продержался не больше двух дней: опять полил дождь, и свежий ветер поспешил уверить меня, что тюремное прошлое не возвращается. В камере вспыхнули лампочки, — с белыми вечерами покончено!





## VII

### ГОЛУБИ И ВОРОБЬИ. ОТОШЕЛ ОТ ЖИЗНИ

В каждой тюрьме вы найдете голубей. Они играют не малую роль в жизни арестантов. Голуби вообще слишком опоэтизированы; ближайшее знакомство с ними приводит многих к разочарованию, которое вылилось, между прочим, и в стихотворении П. Я. «Голуби»:

Увы! Не царь-орел, не ворон, сын свободы,  
К окошку моему теперь летят порой,  
Но стая голубей, смиренных голодных,  
Воркуя жалобно, своей подачки ждет —  
Народ, не знающий преданий благородных,  
В позорном нищенстве погрязнувший народ.  
Эмблема кротости, любимый житель неба, —  
О голубь, бедный раб, тебя ль не призирать?  
Для тощего зерна, для жалкой крошки хлеба  
Ты не колеблешься свободой рисковать.  
Нет! В душу узника ты лишь подбавишь мрака,  
Проклятье лишнее в ней шевельнешь на дне...  
Воришка, трус и жадный забияка,  
Как ты смешон и как ты жалок мне!

Считаю нужным сказать несколько слов в защиту голубей. Действительно, это птица злющая, драчливая: голубь — консерватор и собственник — одним словом, животное. Так и нужно смотреть на него, как

на животное, отбросив сказки о голубиной кротости и нежности. И тогда общение с ним может доставить развлечение, как доставляет временами развлечение знакомство с обывателем, чуждым идейной жизни.

Что голубь буржуа, это видно из его страсти к расширению собственности: и для гнезда и для отдыха где-нибудь на карнизе он старается захватить как можно больше места и отчаянно защищает то, что признает своим. При этой защите он становится, повидимому, и физически сильнее: очевидно, здесь сказывается сознание им своих прав собственности.

Что голубь консерватор и поэтому глуп, это видно из того, как он обращается с большими кусками хлеба. Чтобы оторвать маленький кусочек, который невозможно проглотить, голубь делает резкое движение головой; при этом большой по инерции отлетает в сторону, а маленький остается во рту. Иного способа они не признают, несмотря на то, что рядом, на их же глазах, галки поступают более практично: они рвут кусок ртом, придерживая его ногой. Читатель путем личного опыта может убедиться в преимуществах галочьего способа. Сколько раз я кричал голубям:

— Не так! Посмотрите, как делают галки!

Но разве консерватор способен что-нибудь понять? А между тем неумелость голубей приносит им большие убытки: воробьи подстерегают момент, и как только большой кусок оторвется и отлетит в сторону, они его тотчас украдут. А голубь остается ни при чем; в этом ротозействе, кажется, только и проявляется прославленная голубиная кротость.

Относительно консерватизма голубей следует огорчиться. Городской голубь перестал быть зерноядной птицей. Не хуже любого зубастого зверька он обчищает мясо с вареной кости, клюет куски застывшего сала и масла, а от селедочной головки оставляет только те части, которых не смог бы разжевать даже семи-нарист. Но какой же консерватор не пренебрежет всеми священными традициями, когда дело идет непосредственно о захвате кусков?

Жизнь голубей тяжела и опасна. Если воробьи их только обкрадывают, то вороны, как истинные завоева-

тели, прямо уничтожают их; они хватают молодых, пробивают клювом голову и тут же пожирают. При мне надзиратель отнял голубя у вороны; бедняга был весь окровавлен и не смог уже выздороветь. Много голубей умирает от болезней; то видишь на дворе умирающего, уже неспособного полететь за водой, то свежий труп; а однажды почти на меня мертвый голубь упал с крыши. Арестанты вообще любят голубей, кормят их; но встречаются и среди заключенных лица, подавшие воспитательному влиянию высококультурных охранителей общества и строителей тюрем: эти заключенные выбривают голубям половину головы и напутывают на ноги нитяные кандалы, от которых голубь в конце концов погибает.

В первое лето у моего окна прижились два голубя: Арапка и Жандармка. Арапка — сплошь черная, крупная, солидная и красивая, а Жандармка — сизый, поменьше Арапки, вертлявый задира и трус. Несколько дней они боролись между собою за первенство. Арапка взяла верх, и между ними было заключено, повидимому, соглашение. Установились следующие отношения. Пока я не даю хлеба, Арапка сидит на откосе моего окна, а Жандармка — на соседнем окне. А как только положишь хлеб между рамой и решеткой, так сейчас же Арапка проникает за решетку, а Жандармка перелетает на откос, на ее место. Пока Арапка обедает, обязанность Жандармки состоит в том, чтобы отгонять других голубей; работы ему много: драка идет непрерывно, а Арапка продолжает спокойно клевать. Пообедавши, Арапка улетает на водопой, а Жандармка доедает ее остатки. К концу лета Арапка стала вдвое жирнее Жандармки, так что если бы эти отношения продолжались, то от Арапки, может быть, пошло бы поколение родовитого голубиного дворянства, а потомство Жандармки образовало бы верноподданное плебейское сословие. Но пришла осень, забили окно, и разница между сословиями сгладилась: оба прилетали каждое утро, совместно бились о стекло, сидели грустные и похудевшие и общими силами защищали от других голубей бесплодившую территорию окна.

Весной Арапка вернулась и некоторое время была

полно« царицей окна. Вдруг появился Долгоногий. Он сразу повел атаку на Арапкино сердце, осыпав ее голубиными любезностями. К моему огорчению, Арапка ответила ухаживателю хорошим тумачом в шею. Ошеломленный таким неожиданным ответом, Долгоногий даже сорвался с откоса; о« хотя и возобновил свои притязания, но стал дипломатичнее. Его верность и настойчивость в конце концов смягчили сердце Арапки лишь настолько, что она позволила ему сидеть за одним столом, но не более. Впрочем, я заметил еще, что Арапка начинает волноваться, а иногда даже и тужить Долгоногого в тех случаях, когда он, по своему легкомыслию, принимался ворковать вокруг чужой голубки, случайно залетевшей на мое окно. К чести Долгоногого нужно заметить, что, несмотря на легкомыслие, он, видимо, не покидал и первоначальных своих планов на Арапкино сердце.

Вся эта платоническая идиллия рушилась с прилетом Безносого. С ним я познакомился еще раньше, на прогулке. Худой и длинный, половина нижней части клюва у него отломана, а верхняя часть изогнулась крючком, как у хищных птиц. Он может своим изувеченным клювом захватить только куски величиной с горошину; более крупные не лезут сквозь глотку, а более мелкие не задерживаются клювом; слишком мягкий хлеб цепляется за нижний обломок клюва и не идет дальше. Мне было много хлопот с ним: нужно было делать шарики и еще подсушивать их заранее, как раз настолько, чтобы шарик, не обратившись в камень, не задерживался в то же время и на нижнем обломке клюва.

Само собой разумеется, что Арапка приняла Безносого в колья. Не выдавши голубиной борьбы за право собственности, трудно поверить, до чего может доходить ее ожесточение. Враги прежде всего стараются нанести удар клювом в голову, иногда и в глаз, до крови, а потом ухватиться за кожу на шее и гнуть к земле, дергая из стороны в сторону; если же удастся захватить за горло, то опрокидывают навзничь, топчут, щиплют и давят. Для обороны пускаются в ход крылья, удары которых очень чувствительны. В борьбе Арапки

с Безносым противники держались разной тактик». Арапка трепала врага, зашипнув кожу на шее, а Безносый своим острым клювом колол с разбегу; в конце концов Безносый победил, а Арапка оказалась настолько самолюбивой, что больше уже не прилетала, не желая занимать второго места там, где раньше царила безраздельно.

Осенью, когда забили рамы, кормить Безносого стало невозможно: шарики, бросаемые сверху, через форточку, все скатывались с откоса. Безносый пропал, а на его место повадился летать Дурак. Это возмутительный «господин»: каждое утро он влетает в форточку и затем прыгает вниз, между рамами, не заботясь о том, что может поставить меня в неприятное положение перед тюремным начальством. Вылететь назад он уже не может. Приходится мне ежедневно влезать на стол и с большими усилиями вытаскивать Дурака. В руках он отчаянно барахтается, а как только вырвется, делается спокоен: тут же в камере садится где попало и не хочет улетать. Очевидно, он относится ко мне с глубоким презрением, рассуждая:

«Этот человек вытащит меня, но не в силах будет удержать: я всегда сумею отстоять свою свободу».

В отместку я в глаза называю его дураком, и он молчит. До чего он глуп, видно из того, что к середине зимы от путешествий в форточку у него обломались все крайние перья на крыльях и он стал летать не лучше курицы. Среди воробьев я ни разу не встречал такого глупца.

Кормить голубей на прогулке неудобно, так как это запрещено. А они тотчас начнут летать за тобой целой стаей; надзиратели волнуются и, не осмеливаясь ничего сказать мне, швыряют в голубей булыжниками. Воробьи более увертливы, менее заметны, и им не так много нужно; к черному хлебу они относятся пренебрежительно, — приходится расходовать булку. Они скоро узнали меня, и едва выйду, тотчас подлетают, а когда медлишь с булкой, то перепархивают вслед с елки на елку. Публика эта довольно жадная. Иной уже уплетает булку, но бросьте второй кусок, и воробей оставляет первый, чтобы подхватить второй. Иной



держит булку во рту и ждет, не удастся ли поймать еще. Я видел, как воробей с двумя кусками во рту погнался за третьим, потерял при этом, что имел, не успел схватить нового и остался ни при чем. Воровство у них возведено в принцип, но грабеж запрещен. Вот почему часто можно видеть, что кто-нибудь сидит в толпе и хвастливо поводит головой, держа булку: его никто не смеет тронуть. При еде воробей откусывает маленькие крошки; при этом, понятно, остальной кусок уже не находится у него в клюве; этим моментом публика пользуется, чтобы украсть из-под носа. Иногда кусок пройдет таким образом через много «рук»; остается в силе лишь правило, что в каждый данный момент один из воробьев состоит по отношению к куску в министрах, а все прочие — в лойяльной оппозиции.

Злоупотребления правом на воровство редки. Однажды мать, по обыкновению, откусывала крошки и передавала их детям. В этот-то момент у нее и выкрали кусок. Все общество подняло протестующий крик. Еще более сильные протесты вызвал бывший на моих глазах случай простого грабежа, хотя кусок и был слишком большой и воробьи в тот момент очень голодны.

Летом среди воробьев наибольшей храбростью отличался Хромой. У него одна ножка без движения торчит в сторону; на земле он поддерживает себя опущенным крылышком, а на ветке долго машет крыльями, пока не установит равновесия. Публика пользовалась его уродством и храбростью. Только что схватит бывало кусок, как за ним уже летит вся стая. Куда только не прятался Хромой! То заберется на окно, то взлетит на карниз, то залезет в ямку под куст — везде его тотчас заметят и обкрадут! Бедняжка возвращался и с писком преследовал меня; иногда пролетит перед самым лицом и жалобно чирикает; другой раз ударит крылом о шляпу; а чаще всего становился передо мной на плите с поднятой головой и загораживал дорогу.

Арестанты говорили:

— Посадский, а хитрый какой!

Почему-то здесь не употреблялось слово «воробей», а всегда «посадский».

Пожилой крестьянин серьезно сказал:

— Животину свою кормишь? Корми, брат, корми» «Посадские», обижавшие Хромого, не всегда могли воспользоваться добычей: появился новый грабитель — ворона. Она с крыши следит за воробьями; как только воробей расположится закусывать, она падает вниз и отнимает добычу.

В тюрьме был белый кот. При первом знакомстве я отнесся к нему с симпатией и упрекнул надзирателей: почему мало кормите?

— Мы кормим довольно, а тощий он потому, что нервный.

Раньше я не знал, что в тюрьме и коты нервничают.

Потом я заметил, что этот нервный кот слишком умильно поглядывает на воробьев и любит прогуливаться по лужайке одновременно со мной. Однажды он полез на дерево; воробьи, обсыпавшие ветви этого дерева, улететь не спешили, но тревожно чирикали; никто не соглашался прыгнуть на землю даже за хорошим куском. Раньше я негодовал на надзирателей, кидавших булыжниками в голубей, а тут не утерпел и запустил в кота куском кирпича. Кирпич этот сильно напугал надзирателей, а кот даже не обратил внимания и продолжал подниматься по дереву, уже покинутому воробьями. Он долез до самой верхушки, а я не решался больше пугать надзирателей и только, проходя мимо дерева, каждый раз обращался к коту с неласковыми увещаниями. Наконец ненавистный хищник несолоно хлебавши стал спускаться, осторожно пятясь. Едва он достиг земли, как налетела стая воробышков, надела на кончики ветвей, склонявшихся над врагом, и стала кричать, издеваясь над его бессилием. А кот вытянул передние лапы вдоль дерева. Стая улететь не спешила, но тревожно чирикала: кот поскакал по лужайке, задрал хвост, сел в отдалении и принялся утешить свою «иезуитскую физиономию». А мы с воробышками возобновили свое дело: хватание булки и погоню друг за другом.

После этого надзиратели стали убирать кота с лужайки перед тем, как выпустить меня на прогулку.

Вскоре мне случилось стоять у окна перед самым обедом, когда уже все отгуляли. Один воробей увидел меня с дерева и прилетел за булкой. Подхватив ее, он отлетел на покрытую песком дорожку, оглянулся вокруг и беззаботно приготовился обедать. Увы! Под елкой скрывался мерзкий кот, и воробышек погиб. Только на песке осталась ямка в том месте, где кот придавил несчастную птичку, да в моих ушах долго чудился мгновенный болезненный писк. А вечером в тот день я увидел надзирателя, который ломал мостовую и швырял в воробьев десятифунтовыми камнями; к счастью, все промахи.

К осени развелось воробьев сотни. Все чаще стали они являться к окну. Сядут на решетку и кричат: «Давай! Давай!»

— На, только отвяжись и не шуми!

Но что же будет, если все они начнут летать к окну и кричать? Все они округлились, избаловались; перышки поднялись, как шерсть; у некоторых от жиру грудь приняла синеватый оттенок. Каково им будет зимой?

Первым поселялся на моем окне Красавчик. У него ошипана шея, в других местах перья всклокочены, он всегда мокрехонек и не причесан; кличку свою он получил, конечно, не за наружность, а за красоту душевную: за деликатность, незлобивость и смелость. Он очень спокойно относится ко всяким обидам со стороны других воробьев, а собственность принципиально презирает. У меня он садится на фортку и ничуть не беспокоится, когда направляюсь к окну. Однажды под вечер он как будто заснул, сидя на открытой фортке, и я немало думал о том, как же быть с ним на ночь? Спать самому с открытой форткой было уже холодно. К счастью, Красавчик сам догадался улететь.

Обжившись, Красавчик стал охранять меня от других воробьев, пытавшихся проникнуть в фортку. При этом он становился в боевую позу и издавал воинственные клики; побежденные отвечали жалобным писком, сидя на оконной решетке, куда Красавчик удостоивал спускаться только для оттачивания клюва о железо. Отточивши оружие и преодолев врагов, он заходил на внутреннюю сторону фортки и заглядывал

внутри камеры. Однажды он спрыгнул вниз между рамами, как делал голубь Дурак. Я трепетал при мысли, что Красавчик окажется в этом случае не умнее Дурака. Воробей обошел все места между рамами, подобрал булочные крошки, потом хотел лететь и ударился о стекло. Был момент, когда он несколько растерялся и стал толкаться о стекла. Затем остановился в раздумье и слегка подпрыгнул; заметив, что к движению вверх нет препятствий, он прыгнул повыше, еще выше и оказался на фортке. Я торжествовал.

Каждый признак наступающей осени радует как ликвидация только что миновавшего момента «половины срока». Окна забили рано, к середине сентября, а в конце этого месяца уже случилось одно утро, когда весь двор покрылся преждевременным снегом. Однажды в конце октября вечерняя прогулка запоздала. Было сухо, и с заходом солнца быстро заохлодало; совсем это было необычное явление: морозец, ночь, а я на дворе, под открытым небом! Присел на скамью, и прямо в лицо ударила полная белоглазая луна. Совсем было забылась тюрьма, как раздалось досадное «домой». Через окно я также мог наблюдать луну, но скоро она, как всегда, стала раздражать. Вообще в полнолуние по вечерам чувствуется не по себе: начинаешь беспокоиться, искать причину и в конце концов натякаться на эту белоглазую дуру.

Утреннюю прогулку стали мне назначать со здоровыми; они одеты легко и потому спешат. За время прогулки со «слабыми» я поотвык от быстрой ходьбы и теперь делал над собой усилие, чтобы не отставать: быстрее и глубже дышалось, и больше бодрости после прогулки. Зелень поблекла, кроме ноготков, — они стали как будто еще живее, еще ярче; порою снег лежал половину дня, а из-под него как ни Б чем не бывало улыбались мне золотистые цветочки. И не было от них досады на то, что летний период еще не закончен: слишком сильно и глубоко, всем существом своим я чувствовал, что прошел уже двадцать один месяц и осталось с конца октября только пятнадцать: разница целых полгода. А ведь не далее как 24 апреля при-

ходилось констатировать тот ужасный факт, что оставался еще двадцать один месяц, тогда как прошло только пятнадцать. Перелистываю исчерченный календарь за этот год — в нем остались только две чистые страницы. Утром просыпаешься с мыслью: «Сегодня воскресенье, 26 октября, остается четыреста пятьдесят пять, — а затем иногда лишь один еще раз за день, перед самым сном, вновь вспомнишь четыреста пятьдесят пять и покажется, будто время идет чрезвычайно быстро.

«Большая работа» еще не была кончена. В конце сентября я дал себе отдых. Зато с каким наслаждением возобновил ее с 1 октября! Стало возникать опасение: с чем я останусь, когда кончу? Как проживу остальной срок? Но ведь это же трусость! Будь что будет, а все-таки постараюсь скорее кончить! Вдруг оказывается, что к заключительной части я подошел в середине октября, а по моему расписанию она была назначена на ноябрь! Откладываю ее в сторону и принимаюсь за чтение бесконечного романа Диккенса. Раньше бывало боялся, что не успею окончить работу в тюрьме, а теперь на этот счет уже совсем спокоен: можно не спешить. А с другой стороны, хорошо бы и окончить поскорее: ведь тогда начнется новый период жизни, с новым содержанием!

В первой половине ноября, в понедельник, я убедился, что могу окончить работу к концу недели, и весь день сидел не отрываясь. К вечеру вместо усталости получилось давно небывалое возбуждение, подъем сил. Ночь почти не спал. Вторник и среду работал с утра до ночи не отрываясь. С четверга работал меньше, но возбуждения больше. Напрашивалось сравнение с прошлым годом: ведь тогда вся эта работа едва начиналась, да и то скорее в мечте, чем в мысли! Как плохо работала тогда голова! Шел третий год одиночки, и казалось, что я лишился всякой способности бороться против её влияния, убивающего все умственные способности. Царили мечтания, но не как тихий отдых ясного сознания, а как предсмертный бред в умирающем мозгу. И вот эта работа принесла спасение. Дорога найдена! Приветствую конец спасатель-

ной работы, и вперед, вперед, к новой работе, которая не может не найтись!

Я так был увлечен под конец, так спешил эту неделю, что забыл даже о своем тюремном «календаре» — единственная такая неделя за три года.

Когда кончил совсем, спал мертвым сном чуть не половину дня и всю ночь, а затем позвал фельдшера и попросил убрать «санитарный листок», освободивший меня от обязательной казенной работы. Хотелось провести этим резкую грань между двумя периодами жизни, но была и маленькая хитрость: санитарный листок лежал у меня около года, и нужно было освежить его, чтобы потом не нажить неприятностей.

Опять принесли решетку. Первые дни я уставал от непрерывного сиденья за ними и научился спать сидя, что меня очень забавляло: я поверил теперь рассказам о том, что возможно спать и на ходу. И все же, несмотря на физическую усталость, успешно читал вечером, после работы, не беллетристику. Опасался, что возня с решетками воскресит настроение весны первого года, когда я их впервые узнал. Но оказалось, что они воскресили не столько весну, сколько осень прошлого года, с ее настроениями: мечтательностью и раздражительностью. Я распознал это, впрочем, лишь тогда, когда вновь пришел в равновесие; а раньше приписывал упадок настроения простой усталости — умственной от «большой работы» и физической от решеток. Равновесие восстановилось быстро, и недели через две я так формулировал свое настроение:

«Мне теперь не о чем беспокоиться, не из-за чего волноваться, некуда торопиться (время само идет)! Никакая работа, никто и ничто не ждет меня, — как спокойно, как хорошо!»

Решетки несколько развлекали внимание и ускорили ход времени. Они устанавливаются столбиками. Чтобы внести разнообразие, я стремлюсь возвести столбик повыше, и меня интересует, до какого предела возможно дойти; а затем любопытно будет посмотреть, как эта постройка сама собою рухнет на пол. Столбики вскоре достигли роста человека; к сожалению, рухнуть им не пришлось: решетки были увезены,

когда их набралось свыше двух тысяч штук. Комната опустела, стало просторнее, точно удалили крупную мебель.

Вместо решеток началось приготовление пачек для папирос в три копейки за десяток. Работа еще однообразнее, чем делание коробок или решеток, но чище и без скрипа: нужно обернуть бумагой деревяшку, склеить края бумаги, и готовая пачка летит на пол. За тысячу пачек арестант получает 4 копейки. Возник вопрос: как мне складывать пачки, чтобы они не мялись и чтобы в комнате был порядок? Порезал газету на полосы, посклеивал концы полос и в полученные круги стал вкладывать пачки, как вкладываются папиросные гильзы. Круги — около полуаршина в диаметре, и в каждом — до сотни пачек. Поставленные друг на друга, круги образовывали колонну, а мой интерес заключался в том, чтобы возвести эту колонну до самого потолка, что и удавалось.

К концу осени, по случаю коротких дней, прогулка была сокращена с двух раз в день до одного раза. В ожидании рождественских наградных надзиратели, по обыкновению, все более нервничали, становились грубее и озлобленнее. Их крики не относились лично ко мне, но от этого не легче. Напротив того, я предпочел бы, чтобы кто-нибудь задел меня: тогда я поднял бы скандал. Ноябрь был отчасти мокрый, и кое-где обнажилась земля, — это раздражало. Вообще начинал раздражать недостаток дневного света. По утрам солнце лениво вылезало справа от купола Таврического дворца и все удалялось от него с каждым днем. Усилилась мечтательность. Предметом мечтаний стало преимущественно время, которое наступит непосредственно по окончании срока. Конечно, против мечтательности боролся всеми средствами, уже «испытанными на деле, но временами возникали сомнения: стоит ли бороться так беспощадно? Ведь мечтания убивают немало тюремного времени!





## VIII

### ДУМЫ О ССЫЛКЕ. ПОСЛЕДНИЙ ГОД

На рубеже третьего года все чаще думается о будущей ссылке, пока в самой общей форме: что такое ссылка и чем отличается она от тюрьмы? Когда слышу, что в ссылке живет скверно, порой совершенно не могу понять этого: как же может быть скверно людям, которые могут свободно разговаривать между собой и свободно выходить из дому? Знаешь, что не прав, и все же не можешь отрешиться от представления о ссыльных, как о людях, живущих на воле. Но это бывает лишь в те дни, когда стены одиночки Давят особенно больно. В обычное же время сознаешь, что ссылка — та же тюрьма, только вместо высоких стен и железных решеток там человека окружают бесконечной полосой мертвых снежных равнин и лесов. А посреди этих лесов привязаны к столбу люди с мертвой петлей на шее; они «свободно» могут отдаляться от столба на несколько шагов и, только находясь в пределах этого узкого круга, могут изредка забывать о петле.

Правда, у них, на первый взгляд, большое преимущество: они могут обмениваться мыслями на политические темы и вырабатывать из себя будущих деятелей. Но все ли и всегда ли? Ведь для совместной



умственной работы, обоюдно интересной и полезной, нужны одинаковый уровень развития и одинаковая преданность делу. Иначе общение может оказаться помехой для работы над самим собой: придется ограждать свое время от покушений товарищей, придется самому для себя создавать одиночное заключение.

Здесь, в одиночке, видишь целый штат людей, вся забота которых держать меня в таком положении, чтобы я не увидал товарища даже издали и чтобы, — ужасное дело, от которого зависит самое существование государства, — чтобы мы при случайной встрече не сказали друг другу «здравствуйте!». Поневоле привыкаешь смотреть на всякое общение с товарищем как на величайшее благо. Освобождение — это общение с товарищами. В ссылке же судьбы государства российского требуют, чтобы «вредные люди» имели общение исключительно между собой, чтобы они не приходили в какое-либо соприкосновение с обывательской средой. Не создается ли тогда невольное представление о том, что замкнутость среды — худшее из зол и что освобождение — это общение с массой населения?

Временами напряженно стараешься понять состояние человека, только что порвавшего с одиночкой: как действуют первое время присутствие людей и возможность разговаривать? Предстоящая ссылка ставит этот вопрос более узко: как будет чувствоваться в общей камере пересыльной тюрьмы, а также во время этапных странствований? Как долго придется мыкаться по этапам? В газетах сообщают, что Сибирская железная дорога прошла уже до Томска. А рядом известие: почта, доставленная в Томск по железной дороге, возвращена обратно в Омск, чтобы отсюда следовать в Томск вторично, уже на лошадях, «согласно правилам». Не может ли и с нашей арестантской партией случиться нечто подобное? Ведь товарищи по нашему делу, отправленные прямо в ссылку, провели по этапам ровно восемь месяцев при наличии железной дороги. Много скверного говорят об этапном путешествии. А все-таки хотелось бы поскорее самому пережить эти мытарства.

Что будет по прибытии на место? И прежде всего: куда попаду? В Якутскую область — это несомненно. А там? Нужно быть готовым к худшему. Отправляют ли «пятилетников» в северные округа — в Колымский и Верхоянский? Как живут там люди? С напряженным вниманием, почти не отрываясь, проглотил толстый том только что вышедшей книги Серошевского о якутах. Серошевский — бывший ссыльный. Впечатление у меня очень бодрящее. Автор за двенадцатилетние скитания по северу Якутии успел полюбить и страну и людей; книга проникнута верой в будущее. Очевидно, и там есть жизнь!

Серошевский делает частые указания на прежних исследователей страны: Кропоткина, Лопатина, Ковадика, Войнаральского и других, — все политических ссыльных. Это заранее роднит меня с Якутской областью, как Лермонтов и Пушкин породнили русских с Кавказом.

Особенное внимание обращаю в книге Серошевского на обиходные мелочи. Самый важный вопрос предстоящего пятилетия моей жизни: будет ли возможность пользоваться хоть, самой маленькой керосиновой лампой или свечами, или же всю сплошную трехмесячную полярную ночь придется довольствоваться светом дров от камелька? Возможно ли будет завести стол, кровать, сносную посуду? Каковы будут условия жизни в течение короткого полярного лета? Серошевский пугает комарами. Однажды на его глазах комары до смерти заели быка: у животного желудок и легкие оказались битком набиты комарами, которые до того «кровожадны, наглы и так их много, что в комариных местах положительно способны свести с ума, ослепить и задушить человека». Волков там мало, а медведи не отличаются деликатностью: один забрался через окно, поел в избе все, что понравилось, и удалился, открыв дверь изнутри, а другой влез в погреб, пообедал маслом и молоком и тут же расположился спать. При нападении комаров медведь ревет и до боли бьет себя лапой по «физиономии». Воробьи расселяются по области соответственно распространению земледелия.

В общем о ссылке думалось без волнения, пока дело шло о самых общих условиях будущей жизни. Но вот в самом начале последнего года мои посетители стали покупать для меня разные мелочи (белье, письменные принадлежности) «на будущее время». Раз или два показывание этих вещей на свиданиях развлекло меня, а затем вдруг так тяжело стало при мысли об остающемся почти целом годе одиночки, что я поспешил прекратить это «развлечение».

21 декабря я, по арестантскому выражению, «разменял» четвертую сотню дней: раньше оставалось четыреста и больше, а с этого дня — триста девяносто девять. Даже страшно делается при воспоминании, что было когда-то семьсот девяносто девять и даже девятьсот девяносто девять. Но важность дня 21 декабря бледнеет перед тем, что недалеко впереди, и потому я не слишком предаюсь восторгам, хотя настроение в целом очень хорошее. В конце декабря редко вспоминал о числе остающихся дней; 28-го только к обеду вспомнил, что нужно сосчитать: оказалось только триста девяносто два дня, или пятьдесят шесть недель.

Ну и пусть их: я к этому теперь равнодушен, так как есть дела поинтереснее.

И начал писать письмо.

С наступлением календарного нового года вдруг стала все сильнее волновать мысль о моем «новом годе». В день первого января оттоптал ноги, весь день шагал по камере и на другой день чувствовал себя как после очень длинного пешего путешествия. И все-таки что-то подмывало всякую минуту вскочить с табуретки и вновь начать бегать. Задумал было составить список вещей, которые придется впоследствии взять с собой в дорогу, и слишком разволновался при мысли, что этим вещам придется пролежать в тюремном цейхгаузе еще более года.

Все же первая неделя января прошла быстро и хорошо. Вторая была хуже. Спать стал плохо. Воспользовался тем, что свет от фонарей со двора достаточно освещает камеру, и устроил себе двухчасовую прогулку при открытой фортке после девяти часов вечера,

когда тюрьма уже спала. Временами останавливался и, приложив газету к стене, наводил на ней карандашом буквы, которых не мог видеть, а утром расшифровывал эти причудливые письма: буквы бежали во все стороны, строчка наползала на строчку, и было забавно.

23 января не мог освободиться от гнетущей мысли, что осталось больше года. С тем и спать лег. Во сне видел, будто получил три телеграммы с поздравлениями и будто разрыдался над ними, а затем приснилось, будто моя дурацкая газета («Торгово-промышленная газета») подверглась цензурному преследованию за свое постоянное напоминание о пользе грамотности.

Утром проснулся с радостным сознанием, что случилось что-то очень хорошее. Но потом вспомнил, что в пересыльную тюрьму отправляют отсюда после обеда, и с огорчением сказал:

— Все еще больше года!

Часов с двух, после обеда, меня начало разбирать. Вспомнилось все пережитое за сорок пять месяцев, со дня ареста, — не подробности, а целое, и это целое представилось огромной горой. Я еще вплотную около нее, но она уже позади. Иногда оборачиваюсь и, с ужасом глядя на эту громаду, думаю:

«Неужели ты для меня уже прошлое? Неужели возможно, что и остающийся участок будет со временем пройден, что он оставит по себе след только в воспоминаниях?»

При мысли о возможности этого я терял всякую власть над собой...

Отвлечшись чем-нибудь, я вдруг возвращался к мысли, которая камнем давила с самого сентября, и по привычке думал:

«А все-таки осталось еще больше года».

Но тотчас спохватывался и радостно исправлял свою ошибку. В пятом часу вечера получил поздравительную телеграмму, которая меня чрезвычайно обрадовала и в то же время окончательно прорвала плотину...

В седьмом часу вечера на душе стало так хорошо, мирно и спокойно, как давно не было. Тихо улыбался

при мысли о недоумении тюремного начальства, когда поздравительная телеграмма «с новым годом» получила 24 января. Очевидно, справлялись: на телеграмме поставлена справка о том, когда кончается мой срок, и номер дела.

Думал о завтрашнем дне, когда уже с полным правом можно будет говорить:

— Осталось меньше года.

Как это будет хорошо!

Раньше побаивался, что, доживши до 24 января, почувствую разочарование, как было 24 июля. Теперь убедился, что это совсем не то. И припомнился давно забытый разговор с товарищем.

— Очень ли рады вы были, когда наступила вторая половина?

— Да. Но вот была настоящая радость, когда осталась последняя треть: это совсем другое — когда знаешь, что прошло уже вдвое больше, чем осталось.

А у меня к этому присоединяется еще мысль, что остающаяся треть составляет полный год, один год. Он будет подвигаться вперед, и -при каждом повороте колеса времени будет являться мысль: это последний раз!

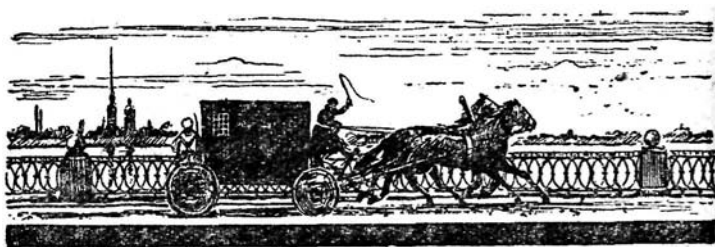
Скоро масленица — последняя масленица! Начнется весна, последняя весна! Как целителя мучительной раны и предвестника воли я буду наблюдать течение этого года. Выше станет подниматься солнце, крыши обнажатся от снега и плотнее лягут снежные дорожки; оживятся воробы на безлистных акациях, и понесут голуби солону в гнездо, — это будет для меня здесь последний раз! Заиграет потом Нева блестящими волн, цветы зажелтеют на тюремной лужайке, появятся неловкие молодые голуби с желтым пушком на спине и раздастся гармоника на неуклюжих барках — в последний раз! А там вновь нависнут осенние тучи, и барки будут скрипеть над волной, и длинные темные вечера настанут — в последний для меня раз! А потом наступление последней зимы: потемнеет хвоя опушившихся инеем елей, потеряют свой золотисто-праздничный вид ноготки, высясь над свежим снегом, и Нева будет снежной пеленой резать отвыкнувший глаз —

все в последний, последний раз! И настанет день... Как это возможно? Неужели придет конец одиночке? Неужели вся эта мука окончательно забудется? Каким будет этот день? Не могу думать о нем, — слишком тяжело.

Получил письмо с воли, от товарища: «Вы нередко меня ободряете, когда бывает минута подавленности, и в настоящую минуту мне особенно ярко рисуется ваш стоический образ...»

Если бы он только мог полюбоваться «стоическим образом» в день наступления последнего года!..





## IX

### ПОЕЗДКА В СЫСКНОЕ. БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ ОЖИДАНИЕ

Первая неделя «моего нового года», как и следовало ожидать, прошла медлительно, но спокойно. На второй день уже удивлялся, с чего это вчера так разволновался. Возобновил свои работы, хотя временами подмывало побегать из угла в угол и обдумать на досуге новое положение. Прошла еще неделя, и я уже приступил к «размену» пятого десятка недель: осталось сорок девять с дробью. Раньше более крупной мерой времени после месяца было полугодие, теперь само собой стала складываться средняя мера — десяток недель.

Стал ловить себя на новом взгляде на свое положение. Гоню этот взгляд как преждевременный, но он возвращается. Это новое заключается в том, что я не чувствую себя брошенным в одиночку на какой-то безграничный период: нет, я здесь временно. И уже не в такой мере противопоставляю себя одного всему миру. Ослабло чувство отчуждения от всего того, что за пределами тюрьмы.

Зима стояла мокрая и только к февралю собралась с силами и дошла до десяти градусов; но дня через два черное дыхание вновь завихлялось из стороны в сторону; почва едва прикрыта снегом. Это еще не

весна, но сенные барки уже расторговались и стоят прозрачными скелетами, а ледоколы очень спешат — значит, во всяком случае, не за горами весна, последняя весна! А пока что наступает мертвый сезон безвременья, когда все приелось на прогулке. Только дни заметно удлиняются — в пять часов еще светло, и можно бы перевести прогулку на летнее положение, то-есть делать ее два раза в день. Но с этим не спешат. Может быть, жалеют надзирателей, которым стоять целый день на морозе действительно тяжело. Тяжело и голубям: их изгнали с тюремного чердака, забили все входы, и теперь этим «господам», очень привязчивым к месту, приходится ютиться на ветру, по карнизам.

А в конце февраля, когда уже совсем приготовился было к встрече весны, начались вдруг сильные морозы с резким ветром и метелью, точно меня отбросили к декабрю. И в марте весна оставалась в бегах, а северный ветер казался еще более пронзительным. Говорил себе, что нужно вооружиться терпением и дать зиме покуражиться перед смертью, а все же было обидно. Снегу навалило столько, что не верилось в его скорое исчезновение. Одно утешение, что прогулку увеличили с 30 минут до 40: это очень заметно и хорошо влияет на настроение. Хотелось бы завести цветы, но вспомнил прошлогоднюю развязку цветоводства и... утешился мыслью, что это последняя весна без цветов.

Стояли еще морозы, а камера уже была залита солнечным сиянием. Оно незаметно подобралось к столу и припекло правую руку. Этого было довольно, чтобы мысль мгновенно перенеслась на волю и чтобы остающиеся десять месяцев показались бесконечностью: скорее бы уж наступил конец апреля! Ведь тогда исполнится четыре года со дня ареста, останется четверть срока и кончится пятый десяток недель!.. А пока... Еще в феврале показалось, что голуби где-то вьют гнездо. Думал, что ошибся. И вдруг вижу пискуну, только что вылетевшего из гнезда. Вид у него жалкий-прежалкий. Старые голуби жестоко бьют его. Как мог вырасти птенец в такие морозы? И не похож ли я на



него со своей преждевременной радостью о близости момента, когда кончится мое отчуждение от мира?

Во вторник мне принесли новые калоши. «Пора начаться весенней слякоти», — подумал я в сотый раз, и на этот раз я угадал. К полудню среды резко заколебалось черное дыхание, а в четверг потекло. Весна была дружная: проталины расширились почти заметно для глаза. Утром Нева блестела снегом, а вечером в ее лужах опрокинулись фонари. Елки посветлели, и почки их вздулись. Почти все воробьи и голуби покинули тюремный двор: быстро оттаявшая земля всюду обнажала обильные блюда для роскошных пиршеств, и птицы с презрением отвернулись от арестантского хлеба. Настроение стало слегка возбужденным, как будто случилось приятное событие в личной жизни, как будто тюремная монотонность сменилась радостной пестротой воли.

Первые дни апреля. Страстная пятница. Идет предпраздничная уборка: мытье стен и выколачивание половиков. Утро прошло прекрасно: голова хорошо работала. Вчера отбил задвижки на зимней раме при помощи табуретки вместо молотка; обчистил замазку и на время прогулки самовольно открыл окно. Сидеть в комнате при открытом окне еще холодно. По пятницам дают личные свидания для приезжих родственников.

— Пожалуйте на свидание. Возьмите заодно и пальто: там прямо поедете в сыскное.

По голове камнем ударило: неужели новое дело? Но с какой же стати в сыскное, а не в жандармское? Неужели опять эти отвратительные допросы? Я вышел из камеры очень взволнованный. Скоро дело разъяснилось: нужно ехать не для допроса, а только для снятия фотографической карточки. Свидание пропало: и я и мой посетитель слишком волновались, начальство торопило, и через пять минут мы простились. Мне сейчас предстояло выйти за пределы тюремного двора — первый раз в двадцать пять месяцев.

Тюремная карета знакома. У нее вход сзади; снаружи около дверцы сидение для конвойного, а на черных боках крупными буквами написано: «С.-Петер-

бургская одиночная тюрьма». Внутри две продольные лавочки. В задней двери — единственное окно. Через него я тотчас стал жадно глядеть на давно не виданное уличное движение и хорошо знакомые дома. Но как ужасно дребезжит карета, особенно после тюремной тишины. Не слышно ни единого уличного звука.

Опомнившись от оглушительного дребезжания, я прежде всего удивился тому, как далеко от тюрьмы до Литейного моста. Раньше думал, что их разделяет только Артиллерийское училище. Много лет проживши в Петербурге, я не знал о существовании здесь какого-то канала, с рельсами вдоль его набережной, к самой Неве. Два года назад пришлось переезжать Неву не через мост, а по льду. Но вот и мост и Военно-медицинская академия. Уличное движение сильнее. Все оглядываются на нашу колымагу. Я отвечаю твердым взглядом, и это дается необычайно легко, почти непроизвольно, точно смотрю не в глаза людям, а на неодушевленные предметы. Из массы встреченных лиц не было ни одного такого, чтобы оно возбуждало хоть крошку симпатии.

Что думали все эти люди, глядя на меня? Вероятно, говорили про себя:

«Ага! Проворовался малый, — поделом ему!»

«Думайте, что хотите, чорт с вами!» — отвечал я.

На Французской набережной отец, пригнувшись набок, вел за руку ребенка, поражавшего крохотным ростом. Эта семейная картина могла бы показаться трогательной, если бы не ясные пуговицы на шинели отца. Далее сытый господин с брововым воротником и правовед: может быть, прокурор с прокуренком (или прокуроренком, как хотите) — мало интересного. У Летнего сада два шалопая в форме студентов-медиков; затем купцы, дворники, дамы, офицеры, старухи, гимназисты — все чужое, все несимпатичное.

По набережной Екатерининского канала пересекли Невский проспект. Здесь многие дома окрашены ярче, чем раньше. Вокруг Казанского собора уложены деревянные мостки для заутрени — для сбора всех этих господ с ясными пуговицами и дам с нелепыми модами.

Вывеска казенной винной лавки, — что для меня новость, чуть ли не единственная за четыре года.

Карета дребезжала, я начал уставать от этого шума и пестроты. Хотелось пересечь дальше от окна, но удержала мысль, что не увижу больше этих улиц, нужно смотреть.

У Львиного мостика карета свернула во двор. Один конвойный шел впереди меня, другой сзади вплотную за спиной. У обоих инстинктивно протягивались руки и разжималась ладонь, точно они боялись, что я вспорхну птицей. Очевидно, им меня рекомендовали как особо важного преступника. Это забавляло.

В дежурной комнате сысского отделения бросился в глаза полуаршинный замок на тяжелой железной двери с надписью: «Кладовая для находок». При мне как раз опечатали вещь, удостоившуюся такого запора: старый пустой портфель.

Вылощенный чиновник бесстрастного вида избегал смотреть на меня. Из дежурной прошли выше в фотографию. Там поспорили: фотограф требовал оставления у него предписания о снятии карточки, а чиновник взамен предлагал расписку. Обрато ехали по Большой Казанской улице. Опять такие же прохожие, такие же взгляды их и такой же мой ответный взгляд. Видел четырех бедно одетых мальчиков, важно прогуливавшихся по тротуару. К ним у меня шевельнулось чувство симпатии, первой за всю поездку. На Невском карета преграждала путь роскошному ландо с разряженными мужчинами и дамами, — опять тот же обмен взглядами. Я стал уже равнодушно смотреть на уличное движение; по отношению к толпе зашевелилось, а затем быстро окрепло чувство презрения. Почувствовал, что успел полюбить свою долю в целом и не согласился бы променять ни на чью другую. В голове стал складываться юмористический куплет.

Я видел по дороге много приготовлений к празднику. Но ни на мгновение не шевельнулось во мне ни горечи, ни зависти, ни желания покинуть тюремную карету. Очевидно, отчуждение от воли далеко еще не исчезло с наступлением последнего года, и это меня радовало. В общем поездка напомнила, как я когда-то

наблюдал впервые жизнь кавказских туземцев: она любопытна для взора, но самому войти в нее и ограничиться исключительно этой жизнью, — нет, ни за что! У меня своя жизнь, своя дорога, которую я не променяю на какую-либо другую.

Вернулся в тюрьму совершенно спокойный. Мелькнуло лишь едва уловимое сожаление о том, что кончилась пестрота зрелища, и сейчас же вытеснилось мыслью:

«Меньше чем через год я покину тюрьму для более продолжительного и более интересного зрелища».

Ждал пасхи не как праздника, а как новой станции по пути к будущему. Но неизмеримо более важной станцией являлся конец апреля, и поэтому с наступлением пасхи время потянулось медленно. Старался не поддаваться настроению, много и продуктивно работал. Во вторник выпал снег, получилась иллюзия осени, и этот день прошел необыкновенно, выделившись и продолжительностью умственной работы: проснулся в два часа ночи, до рассвета, и уже не засыпал и обдумывал некоторые вопросы, а потом сплошь весь день или читал, или писал. Вообще пасхальная неделя прошла деловито.

А за окном в это время разыгралась драма. Там, под карнизом, свила гнездо пара голубей, изгнанных с чердака. Они кормились на моем окне сначала вместе, а потом порознь. Затем началось подозрительное поведение вороны: она садилась неподалеку и устраивала пристальное слежение за моими голубями. У меня тотчас зародились опасения за гнездо. И действительно, через два дня голуби опять появились на окне парой, но тревожные и грустные. Они стонали совсем по-человечески.

Убивалась больше всего голубка, а муж утешал ее, перебирая клювом перышки.

Я ловлю с интересом всякий новый признак наступления летнего полугодия. Промыл 12 апреля наружные стекла, хотя официального распоряжения об открытии окон еще не было. Солнце, лазившее зимой только по стенам камеры, теперь большую часть дня остается на полу. А к концу апреля наступила почти

июльская жара при южном ветре, несшем в камеру-копоть с реки и испорченный воздух из города.

Последние месяцы всегда прихожу в хорошее настроение в те часы, когда сижу над своими тетрадами, поставив стол посреди комнаты и сидя лицом к окну. С открытием окон наслаждение от своей работы увеличивается дуновением свежего, влажного воздуха. Окно привлекает теперь меньше, чем год назад, но все же отказаться от вечерних стояний у окна нет сил. Днем, во время прогулок, стоять у окна нельзя. Таким образом, мой день разбивается на две части: днем — работа в комнате, а вечером — отдых на «даче».

Эта «дача» пригляделась до последних мелочей. Невольно вспоминаешь раннее детство, когда каждая половица имела свою «физиономию», а угол комнаты составлял особый мир. Мне знакома теперь каждая ветка стоящих против окна елок. Плиты прогулочного круга приобрели индивидуальность: знаю длинные и короткие, лежащие прямо и покосившиеся, поднявшиеся и вдавившиеся в землю; выделяются те, под которыми проходят стоки для воды, на одной высечен отпечаток каблука; на другой двадцать семь месяцев назад я застал отколовшийся угол, за который иногда цепляется нога; арестанты, случалось, отбрасывали ногою этот осколок, и он валялся без приюта, пока чья-то заботливая рука не возвращала его на свое место. И кажется, что этой плите с отколотым углом суджено лежать здесь вечно.

Давнее знакомство с травой на лужайке создает новый интерес: как старых знакомых встречаешь третьей весной и куст конского щавеля, и стебель дикого чеснока, и колонию ромашки. На одном и том же месте ежегодно появляются первые лютики. Давно примеченный одуванчик опять цветет задолго до срока: он приютился между камнями, у самой стены на припеке и третий год спасается там от гибели, постигшей при выпалывании его менее осторожных товарищей.

Является событием, когда откроется новый предмет, ранее незамеченный. Например, только на днях сквозь кусты акации заметил в тюремной стене след

замурованной двери. Другое открытие — яличная пристань на дальнем берегу Невы, повыше сенных барок.

Недавно случилось услышать вечером совсем необычные звуки: плач грудного ребенка и кудахтанье курицы. Звуки эти не из числа мелодичных, но слушались они мною как отклик чего-то полузабытого, давно покинутого и все же близкого и на время навяли праздничное настроение.

На тюремном дворе появилось в этом году и кое-что новое. Врыт столб с крышей («гриб») для надзирателей на случай дождя. Прделана вторая выходная дверь со стеклом, чтоб начальству удобно было наблюдать за прогулкой, не будучи замеченным. За тюремной стеной, вдоль набережной, поставлены телефонные столбы. Вот, кажется, и все новости за три года.

Просидел сорок восемь месяцев, осталось девять: неужели осталось много? Как меняется, совершенно помимо сознания, мерка времени! Минувшей осенью апрель был последним пределом мечтаний. Тогда говорил: «Остается только шестнадцать месяцев. Пройдет новый год, придет весна, и получится уже совсем маленький остаток».

Но уже тогда при мысли о январе считал, что останется мало, а думая об апреле, чувствовал, что останется еще ужасно много. Раньше считал годами, а теперь — месяцами.

Ходячее мнение утверждает, будто нигде время не идет так быстро, как в тюрьме. Неверность этого мнения очевидна. Не говоря о том времени, которое еще впереди, но и оставшееся позади вовсе не оставляет в памяти впечатления чего-то прошедшего быстро. Напротив, в июле, дождавшись половины, был удручен именно мыслью, что осталось вынести еще ровно столько же муки, сколько пережито. Теперь говорю: осталось столько же, сколько прошло с июля, и опять кажется, что осталось очень много. Правда, теперь своя умственная работа придает прошедшим месяцам известную индивидуальность: есть что вспомнить. Но ведь раньше и я проводил время, как все, и тот период кажется теперь не короче последних месяцев и уже во всяком случае не светлее их.

Оглядываясь на второй год, вижу очертание предметов, в различной степени освещенных. Оглядываясь на первый год, вижу такое же большое пространство, наводящее ужас своею тьмою и безнадежностью.

Последние дни приходится переживать то, что я называю переходным периодом. Процессы, происходящие в голове, — совокупность мыслей, мечтаний, чтения и писания — связаны между собою и составляют в каждый момент нечто целое, имеющее свой период роста, расцвета и замирания. Самое приятное — период роста, когда зародились свежие интересы и всей душой отдаешься им. Период же замирания сопровождается утомлением и равнодушием. На воле в это время человек спасается внешними развлечениями. В тюрьме их нет, как нет и внешних толчков для мысли. Наступает период тяжелой скуки. Время едва ползет. Освобождение кажется бесконечно далеким; частичное приближение к нему теряет интерес. В такое время в особенности хватаешься за беллетристику.

На-днях попался глупейший французский роман. И стыдно сказать: отрываясь от его чтения, я испытывал то, же, что раньше было после Гоголя и Льва Толстого, то-есть спрашивал себя с удивлением:

— Неужели я в тюрьме? Как это странно.

И затем опять удивление:

— Каким образом на пятом году одиночки я могу забываться над бульварным романом до такой степени, что нахожу странным свое пребывание в тюрьме?

К сожалению, легкая беллетристика — наркотический яд. После нее — опустошение сознания, и одиночество чувствуется еще сильнее. В переходные моменты хорошую службу могли бы сослужить журналы своим разнообразным содержанием. Но их нет. И сердцем овладевает тоска, как ни бодрисься. А при мысли о бесконечно далеком дне окончания срока сердце замирает и думать нет сил. Мимолетно представляю себе последние дни пребывания здесь, затем выезд, путешествие. Уже и теперь мысль об этом страшно волнует. Что же будет тогда? Вновь родится недоверие к врачу и опасение, что сойду с ума или разовьется болезнь сердца до того, что не перенесу волнений,

связанных с выходом отсюда. Но возможно и то, что успею переволноваться заранее и тогда буду совсем спокоен. Будущее темно, а в настоящем апатия и тоска. До возрождения остается еще тридцать семь бесконечных недель.

Сегодня, 8 мая, на прогулочной лужайке посажены первые березки. Отмечаю это как исторический факт. Может быть, через много лет заключенный второго корпуса прочтет эти строки, прислушиваясь к шелесту разросшихся берез. Тюрьмы не имеют истории, написанной заключенными, да и не могут иметь ее. А какой интересной могла бы быть такая история! Меняются и внешний облик тюрьмы и внутренний склад заключенных; то и другое своеобразно отражает общие условия культурной и политической жизни страны.

Посаженные сегодня березки — тонкие и хилые. Мне грустно смотреть на них, точно это арестованные дети с наивными глазками — листьями.







## Х

### МАЙСКИЕ ВОЛНЕНИЯ

Тюрьма стала привычкой, она не замечалась. Березки вывели из забвения — тоненькие, нежные. Хотелось ласково посмеяться над их молодостью, рассказать про тюрьму, обнадежить: вырастете, увидите вольный мир за оградой! Там плещется Нева и солнечная струя бежит вслед пароходу; там так много жизни; обрывки волны вытягиваются в прозрачные полосы, чтоб рассыпаться полукруглыми блестками, засветиться полумесяцами, собраться в торжественные короны, плеснуться искрами и затрепетать серебристыми крыльями чаек. Но вспорхнули чайки, быстрее мысли обернулись они чашечками ландыша и мгновенно перенесли мысль в даль детства. Забылись наивные глазки тюремных березок, забылась тюрьма. В мыслях другие березки, в забытой роще.

Свисток: раз-два. Будто далеко, далеко. А сколько раз бывало резал он слух и заставлял встрепенуться в тревожном ожидании! Теперь медленно, точно против воли, проникают в сознание знакомые звуки: раз, раз-два. Наш коридор.

Воробей третий раз пропорхнул мимо окна и пискнул с упреком. Там, в роще, по безлистным ветвям, пели когда-то невидимые птицы, и ландыши манили в лес-

ную глубь. Почему не достиг конца той тропинки, что начиналась от раскидистой старой березы?

Далеко загредел засов, кому-то другому сказали:

— Пожалуйте к помощнику!

Ноги перебирают железные ступени. Смутно вижу стол с зеленым сукном.

— Сейчас сообщу вам радостную весть...

Что? Какие тайны открыла извилистая тропинка? О чем прошумел ветер-обидчик?

— Ждете чего-то приятного?

Смешной этот помощник, рыхлый, не похож на офицера. Зачем говорит не как тюремщик?

— Не ждете?

— Журналы? Разрешены наконец?

— Лучше! Вот бумага, прочтите.

Департамент полиции. Согласно прошению такого-то, его жене, административно-ссылной такой-то, разрешена отлучка в Петербург на неделю.

— Вам дано два свидания. Личные, по полтора часа.

Три часа за три года! Как, однако, смешно радуется за меня рыхлый помощник! Опять в камере.

Бегал бы из угла в угол в радостном волнении, да сердце клинком кольнуло. Сел, и радость ушла в нена сытную стену. Увидимся, когда? Тысяча верст и... три часа. Все-таки... Надо послать телеграмму.

Узнает она, узнает исправник. Вот глаза раскроет! Три года его осаждали приказами: смотреть, не пускать, и вдруг отлучка в Петербург! Воображаю его испуг,— ха-ха! Ха-ха! А товарищи, — там, среди тундр, — тоже изумятся. Сколько бедотни! Засыплют поручениями, проведут толпой. И тут же шпион!

Стало так весело, что сел за книгу, которая в тяжелое время бывала в забросе. Кажется, весь мозг колебался, как река после парохода, и слагается в мысли — круглые, овальные, изогнутые в красную линию. А веселая грудь все ускоряет волнение мозга. Подана лодка. Гребцы взмахнули веслами, на берегу раздалась песня, комариный столб вытянулся над пассажирской. Догадалась ли она запасть сеткой? Пароход, поезд,

шум колес и звонки на площади. Где она остановится? Как устроится?

Странно: ведь в самом деле будет свидание! Подал прошение без надежды, так себе, лишь бы успокоить себя. Подал и забыл... Нет, не забыл и только теперь признался себе, что жил надеждой, и надежда часто торопила мысль в прибрежный бор, надломленный горстью серых домишек у безлюдной ненужной реки. Чаше и чаще беззвучная мысль пронизывала розоватыми крыльями дымную даль и пылливо искала покосившееся окно; она прислушивалась к незримым шорохам; быстролетная, в блеске молодого солнца, окидывала она взором широкие отмели и реяла над враждебным бором, все напрасно: ни следов, ни голоса, ни лица!

И вдруг голос, лицо — все будет тут, возле, даже без решетки. Узнает ли она меня? Сильно ли изменился?

Окно открывается внутрь; книгу к стеклу — зеркало готово. Чьи это глаза? Странные искорки, где-то фонарики, не разберешь, близко ли: взор без направления и расстояния. Видел такой у сумасшедшего, бежавшего из больницы и напугавшего меня в подгородной роще. Давно это было, и в зеркале тогда отражался не такой взгляд. Еще что-то было, не могу вспомнить, что-то большое. Вдруг встряхнуло всего воспоминание, ясное и непонятное: многозвучное без звуков, красивое без очертаний, волнуемое без настроения; на мгновение воскресло целостное ощущение молодости и бросило в мучительное недоумение. А за оконным стеклом, прикрытым книгой, стоял взор без направления и расстояния, усталый от многолетнего покоя каменной могилы.

Проходили дни, томительные, как бесконечное плавание по ненужной реке. Выехала или не выехала? Когда выедет? Писать ли письмо? Не опрашивал, — рыхлый тюремщик сам великодушно догадался:

— Вы ждете телеграммы? Она получена вчера вечером, но не может быть выдана, — начальник не приехал. Поэтому я пришел объяснить на словах, что жена ваша выехала вчера. Я говорю это к тому, что вы сегодня пишете письмо, так чтобы знали.

— Благодарю вас.

Разорвал начатое. Быстро заходил по камере, — не мешает клинок, что так часто резал слишком бьющееся сердце. Ходил все быстрее. Остановился передохнуть и вспомнил:

Снова в душе загораются  
Слезы, гроза и смятение...

Годы навалились на плечи, дернули, толкнули к табуретке и вдруг сгнули. Легко стало, весело. Хорошо, что расстояние велико, до приезда успокоюсь. Вдруг мелькнуло изумленное красное лицо исправника, а воробы за окном окончательно рассмешили: гнались за одним, который нес булку, уронил, на лету подхватил другой, тоже уронил, подцепил третий; крик на весь двор.

Кажется, пора бы приехать. Могут позвать. Это необычное свидание, нет сил отдаться ожиданию, оставаться наедине с собою. В руках два романа: переход одного к другому освежает и дает силу кое-что понимать. Солнце на полу показывает десять, свидание в час, а страницы слишком спешат. Беда, если они пробегут все раньше, чем вызовут на свидание.

Щелкнул замок. Весь насторожился.

— Заявить ничего не имеете?

— Ничего.

Вздумали делать обход как раз сегодня. Не спешите так, страницы! Вдруг свисток: раз, раз-два. Слышится: «Дай номер семьсот шестьдесят пять». Спешно оделся. Руки дрожат.

— Пожалуйте к помощнику.

— Что такое? Зачем?

Расписался под ненужной бумагой. Будет ли свидание? Может быть, она давно в городе? Или еще за тысячи верст? Уже поздно. Опять свисток. Затеплилась последняя надежда и пропала: вызвали другого. Нечего ждать. Роман становится противен. Возмутительный роман: дело близко к развязке, но глупая мисс не хочет ответить, как нужно, а решает ехать на год за границу.

Добровольно! На год! И автор сочувствует решению сумасбродной девчонки!

Со двора доносится шарканье арестантских ног, прерываемое окриками надзирателей. Когда же конец всей этой тюремной муке? Опять свисток...

Затеряли разрешительную бумагу, долго искали.

Отрывистый поцелуй среди толпы тюремщиков. Потом почти один. Надзиратель сел поодаль, старался не смотреть, делал вид, что не слушает. Мы сидели в канцелярии на широкой тахте; чиновник у ближайшего стола занят своим делом, часто выходит озабоченный из комнаты. Мы старались держаться так, точно виделись час назад, ежедневно видимся. Смех, шутки, дорожные приключения, мелочи дня. Больше всего рассмешили шляпки. Когда в городке узнали, что один из обитателей едет в Петербург, и только на неделю, весь тундровый бомонд заволновался: всем понадобились модные шляпки. Попадья, докторша, жена судьи, купчихи — все поднялось. Только бедная исправница не посмела войти в сношения с политической и выместила свое огорчение на невинном супруге. Теперь же не в Петербурге хлопот из-за шляпок по горло. Впрочем, и времени свободного много: в тюрьме придется побывать еще только один раз. В сущности, нужно побывать в департаменте полиции. Там, вероятно, привыкли к просьбам и нарочно дали так мало, чтобы потом накинуть.

Вихрем пронеслись полтора часа. Опять камера. Нет возможности тотчас разбираться в впечатлениях. Нужно раньше успокоиться за романом. Оказалось, что поездка глупой мисс в Германию придумана самим автором только для обстановки. Молодой герой поскакал вслед, и в Мюнхенском музее все разрешилось. Лучшие романы те, где все кончается благополучно. И без романов довольно горя. Сегодня здесь красили купол. На шестиэтажной высоте от окна к окну перекинуты доски. На досках рабочих с кистью. Неловкое движение — смерть. Пол усыпан опилками, чтобы не забрызгать краской; забрызгать кровью не страшно — легко смыть. Сколько нужно было горя рабочему, чтобы ступить на узкую доску?

Тюрьма уже спала, когда послышались долгие стоны. Больного? Вновь прибывшего? Сумасшедшего? В ушах еще стояли недавние крики. Помешанного отправляли в больницу. Он думал, говорят надзиратели, что его хотят убить. Он рыдал, молил, просил, бился в отчаянии. Теперь стоны тише, но им конца нет. Больно за человека, но зачем же он других мучит? Поднимается злоба против больного, против тюрьмы.

— Надзиратель! Кто это стонет? Почему не уберут в больницу?

Измумлился, потом сообразил:

— Да это голуби! Налезли в купол через открытые окна и гудят на всю тюрьму.

— Чорт их возьми!

— Нам тоже на нервы действуют.

Утро. Влажными глазками смотрят березки на гуляющих по кругу арестантов. Беспорядочно стучат по плитам десятки ног. Бодрая свежесть переполняет грудь, словно просится наружу. Робкий шопот, и тотчас окрик:

— Чего разговариваешь? Иди в камеру! Намордники на вас нужно!

В тоне окрика — презренье. Вмешиваюсь.

— Арестанты не собаки.

— Да ведь я не вам сказал.

— А я вам говорю!

Надзиратель сделал руки по швам. Он труслив и недалек. Когда подлетают воробы, чтобы получить булку, этот надзиратель — высокий, скуластый, с заплывшими жиром глазами — не смеет остановить меня: он хватает с земли большой булыжник и пытается убить увертливую птицу. Теперь он трусит, и злится, и думает о мести. Вдруг он заметил мой пристальный взгляд вверх и оживился. Погоди же!

Упорнее прежнего смотрю вверх, и в заплывших глазах надзирателя заиграло торжествующее лукавство. Он уже видит победу, ожидает награды за открытие сношений. Остается только узнать, в каком окне делают мне знаки. Я смотрю на окна и скашиваю глаза, будто боюсь; не могу сдерживать улыбки, а она новое доказательство тайного разговора знаками. Надзира-

тель вертится, рыщет по двору, бежит внутрь, всех поднял на ноги. Трое выходят на двор и следят за окнами, остальные проверяют камеры через дверной глазок. На время перестаю смотреть вверх — надзиратели расходятся, а я вновь начинаю дразнить. Слышится бессильная злоба в окриках, слезы в голосе при докладе старшему:

— Все глядит!

Смешно и тяжело. Приходится вести войну с надзирателем, приходится считаться с окриками: не находи, не разговаривай, не оборачивайся, не сходи с дороги, не смотри вверх, не улыбайся, не... не... Эти бесчисленные «не»! Ими связано каждое движение.

Было еще три свидания. Они прошли спокойно. Говорилось о пустяках, точно виделись недавно и вновь скоро увидимся. Это самое лучшее...

Остается двести тридцать пять дней.





## XI

### ТОВАРИЩИ. ЦЕРКОВНЫЕ «БЕСЕДЫ»

С каким нетерпением ждал я летних месяцев последнего года! Они представлялись морем света. Белые ночи обещали раздвинуть вечерние рамки камеры. Бывало ходишь в темноте по камере, цепляясь за мебель, и думаешь о тех днях, когда ночью можно будет и свободно ходить из угла в угол и записывать мысли. Теперь эта возможность настала, а удовлетворения не принесла. Напротив, с сожалением вспоминаю время, когда день разбивался на части с искусственным и естественным освещением и не был так однообразен. Осень портила это однообразие. Поскорей бы до нее добраться! Но ведь, в сущности, лето еще и не начиналось, — теперь только первые дни июня!

Последние дни мною всецело владели мечтания о времени окончания срока и первых впечатлениях новой жизни. Во вторник, 19 января, будет последнее свидание, на котором я выскажу свои распоряжения о вещах: буду волноваться, нервничать; посетительница, по обыкновению, будет держать себя как сиделка с больным. В четверг, 21-го, пройду последний раз через двор в ванное здание. Книги будут заброшены, а я с утра до вечера буду ходить по камере. По временам присяду к тетрадке, это прояснит голову, сократит



время и успокоит. Потом опять ходьба. В субботу утром последний раз выйду на прогулку и попрошаюсь с воробьями и елками. После обеда буду вздрагивать при каждом свистке, вызывающем нашего надзирателя. Наконец стукнет дверь и меня позовут к «расчету». Что такое этот расчет? Сведение денежного итога? После расчета у меня отберут приемный листок, на котором три года назад, в ужасные первые дни пребывания здесь, я прочел эти убийственные слова:

«Конец наказания 24 января 1899 года».

Удастся ли мне заснуть в ночь на воскресенье? Вероятно, засну под утро, и вдруг утренний электрический свет ударит по глазам. Вскочу с мыслью, что должно случиться что-то чрезвычайное. Что именно, спрошу я себя, и... трудно вообразить заранее, что переживу я в первый сознательный момент последнего дня! Вероятно, весь организм наполнится ликованием, которое сменится черной мыслью:

«Еще более восьми часов осталось мучиться в этой поганой норе!»

В семь часов утра услышу команду: «Выходящих на волю!» Эти слова, ежедневно волнующие, не будут относиться ко мне даже и в этот день, так как по утрам выпускают только тех, кто выходит прямо на волю, или, по арестантскому выражению, «за ворота». Меня же отправят в пересыльную около 3 часов дня.

Самые последние часы пройдут легче, если позволят заняться укладкой вещей и разбором книг. Я уже теперь по своему каталогу распределил, куда какие книги сдать, и люблюсь этими отметками разноцветным карандашом.

Казенный обед покажется мне в тот день помоями. После обеда тревога усилится. Пробьет час, потом два. Кажется, прошла уже вечность, а часы не бьют. Не испортились ли они? Или я прозевал? Может быть, теперь уже четвертый час, а не вызывают потому, что только что получено распоряжение задержать меня здесь. Это опасение будет все возвращаться как назойливая муха. Мною начнет овладевать отчаяние. Позвоню.

— Вызывали ли уже тех, кто отправляется сегодня в пересыльную?

— Не знаю, — ответит надзиратель, сменившийся в обед.

— Который же теперь час?

— Без четверти три.

Вздохну с облегчением и в то же время подумаю: «Как еще много осталось!»

Пробьет три. Прильну ухом к дверной щели. Сердце застучит. Вещи в камере уже связаны. На полу сор. Чтобы сократить минуты, выгляну в окно в последний раз. Там попрежнему белая Нева и по-старому движутся арестанты по кругу. Бедные они, жалкие!

В последний раз откроется дверь. Не помня себя, поспешу по коридору. Вот и контора, за ней — карета. Заскрипели полозья... Конеч. Верю, что этот конец застанет меня в живых, но когда это будет? Ведь только что настал июль. Впереди тридцать недель. Раньше меня выйдут на волю два товарища: один через двенадцать, другой через двадцать три недели. Их выход, наверно, будет волновать меня и оставит после себя пустоту. Грустно будет остаться совсем одному, но тогда впереди будет только семь недель, — какое это будет счастье!

В первые два года политических заключенных здесь было очень мало. Сидели они далеко от меня, и почти не приходилось иметь с ними сношения. В одном коридоре со мной был литвин, тотчас подавший прошение о помиловании. Надзиратели смеялись:

— Конечно, его прошение удовлетворят, но ответ объявят не раньше как за неделю до срока.

Несколько месяцев назад вдруг узнаю, что сюда прибыли двое, которых я близко знал еще на воле. Один из них, товарищ Александр, попал в мой коридор, и у нас тотчас установилась переписка, приблизительно раз в неделю. Мы гуляли одновременно. Другой товарищ, Вася, сидел дальше, с ним удавалось обмениваться письмами приблизительно раз в месяц. Иногда его коридор гулял одновременно с нашим, тогда мы видели друг друга на близком расстоянии, а через окно я мог его видеть ежедневно. Когда приходилось гулять вместе, мы все трое обменивались приветствиями при выходе и при входе, снимая шапку. Это очень волновало

надзирателей, но помешать они не посмели. Вот, кажется, почти все, чем исчерпывалось здесь товарищеское общение мое с другими политическими за все время заключения.

Пытались установить более частое общение с Васей, хотя бы несколькими словами.

Говорить нельзя, возможно только сношение знаками. Естественно использовать во время прогулки метод перестукивания. При этом азбука делится на шесть строк:

а	б	в	г	д
е	ж	з	и	к
л	м	н	о	п
р	с	т	у	ф
х	ц	ч	ш	щ
ы	ю	я		

Начинающему важно запомнить начальные буквы строк: а, е, л, р, х, ы. Выстукивается сначала строка, потом место буквы. При начале разговора всегда первая фраза: «Кто вы?» Ей соответствует число ударов: 2, 5, 4, 3, 3, 4, 1, 3, 6, 1. После каждого понятного слова слушатель делает один удар; если собьется со счета, то два быстрых удара; прекращая разговор, например в случае опасности, скребут быстро по стене. При некотором навыке разговор идет быстро: ухо воспринимает звуки как букву, причем счет ударов происходит бессознательно. Кроме того, один удар, означающий «понял», слушатель дает, не ожидая окончания слова, часто по первой букве. Например, фраза: «Сегодня меня возили на допрос, спрашивали о знакомстве с» — будет понята, если простукать только сег. м. воз. на. д. спр. о зн.» — то-есть: 4, 2, 2, 1, 1, 4, 3, 2, 1, 3; 3; 4; 2; 3, 3, 3, 1, 1, 1, 5, 4, 2, 3, 5, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 3, 3.

Перестукиваться можно не только соседям, но и сидя в разных этажах или через несколько камер; в этом случае стучат в наружную стену. Если же очень далеко, то стучат пяткой (без сапога) в пол, — получается гул почти через все здание.

Тюремщикам, понятно, все эти приемы хорошо известны, и нужна ловкость, чтобы не попасться. Стук,

конечно, легко может быть заменен движением, если люди видят друг друга. При ходьбе руки человека качаются; стоит переднему делать паузы, задерживая руку после известного числа качаний, и задний может следить, что говорит идущий впереди. Это также известно начальству, и надзиратели следят за движением рук. К сожалению, при этом способе очень трудно сохранить естественность в качании руки, с другой стороны, задний не может дать знака «понял». И за полчаса прогулки удавалось сказать не больше одной короткой фразы. Поэтому сношения эти скоро были нами брошены.

Александру срок в сентябре. А сейчас жена его совершает пешее этапное путешествие от Томска в Восточную Сибирь. Понятны наши тревоги. И как раз в середине июля в тюрьму долетела весть о бойне.

Чтобы отвлечься от тяжелых волнений, связанных с известиями о бойне, а отчасти и для того, чтобы увидеть друг друга поближе, мы решили ходить в церковь на «беседы». Там старший надзиратель ни секунды не стоит спокойно: то пальцем, то подбородком он грозит арестантам, пытающимся перекинуться словом: иного толкнет, другого рванет за рукав.

Вышел напомаженный и расфранченный студент духовной академии, в рясе с позументом поверх партикулярного платья. Обратившись лицом к алтарю, ой несколько раз перекрестился и раздельно произнес: «Во имя отца и сына и святого духа», в особенности подчеркивая букву «а» в слове «святого». Затем обратился к арестантам:

— Прошлый раз я говорил вам, возлюбленная братия, — и стал читать по печатному тексту, стараясь делать вид, что не читает, а говорит. — Темами бесед, которые мне случилось посетить, были: 1) о том, что и на монах может спасти душу, 2) о вреде воровства, 3) против сквернословия.

Доказательством вреда сквернословия был следующий пример. Один мальчик, избалованный родителями, уже в пятилетнем возрасте начал сквернословить. Во время моровой язвы он заболел и умирал на руках отца. Вдруг увидел он бесов, пришедших за его душой, начал плакать и прижиматься к отцу, моля о защите.

— Что с тобой, дитя мое? — спросил отец.

— Папа! Пришли черные люди и хотят взять меня!  
Прогони их!

Отец начал молиться, но было уже поздно: ребенок умер, и бесы понесли его душу прямо в ад.

Вот, возлюбленная братия, вы видите, как наказывает господь за сквернословие даже малых ребят. Что же будет со взрослыми, когда им придется держать ответ за себя? Ведь вы знаете, братия, что после смерти, во время хождения души по мытарствам, первый вопрос, который ей будет предложен, будет вопрос о сквернословии. Какой ответ дадите тогда?

Из доказательств губительного влияния страсти к воровству помню такой пример. Был инок, который часто крал лишние съестные припасы из монастырской трапезы. Игумен увещал его:

— Разве мало тебя кормят?

— Довольно, отче!

— Зачем же ты берешь лишнее? Приходи обедать ко мне.

И игумен стал давать ему пищу самую лучшую, без ограничения. Через несколько времени инок сам покался, что он продолжает воровать, и объяснил, что какая-то сверхъестественная сила толкает его к греху. Украденные припасы он бросал свиньям. Несколько раз повторялись и увещания игумена и эти искренние покаяния инока, мучившегося своим пороком, но тщетно. Вот, возлюбленная братия, до чего доходит страсть к воровству, если человек даст волю своим дурным наклонностям.

Из числа июльских тюремных новостей самая крупная — новый фонарь на дворе. Вечером я заметил движение матового шара на высоком новом столбе. Став на табуретку, увидел вольных рабочих: синяя блуза распорядится, а красная рубаха торопливо работает. Спустив шар до самого низа, оба ушли в разные стороны. Скоро вернулись. Зажгли вдруг все шесть старых тусклых фонарей. Один из них заслоняется ветвями нового тополя и кажется далеким сквозь листья. Синяя блуза возится с шаром, а красная рубаха все куда-то бегаёт. Я жду напряженно, как в детстве ждал ра-

кеты: есть что-то особо волнующее в ожидании света среди сравнительной тьмы. Вот шар блеснул в руках рабочих и тотчас потух; затем он медленно стал подниматься и остановился на аршин от верхушки; наконец последнее движение вверх — и заблестел ярким розовым светом.

Лужайка посветлела. Кирпичные стены и кусты акации получили фантастический оттенок и напомнили декорации. На воле всегда было не до театров. А теперь как жадно я смотрел бы на сцену! Рабочие отошли и любуются. Потом синяя блуза побежала, а красная рубаха на этот раз солидно удалилась. Обернулся в камеру: на стене яркое пятно переплетов решетки, можно разобрать обыкновенную печать, а написанное цветным карандашом отлично видно. Могу теперь писать по ночам с большим удобством, чем раньше. На дворе опять шаги и голоса: тушат старые фонари. Позади акации, по обыкновению, крадется дежурный надзиратель. Его теперь отлично видно. На улицах еще нет огня, и тюремный фонарь должен привлекать внимание. На барках идет энергичная перебранка: кто-то ругается, толпа протестует.

Первая ночь с новым фонарем прошла спокойно. Я бродил в толпе. Полусумасшедший старик вскрикнул: «Нос!» — и стал ловить меня. Очевидно, я ушел из тюрьмы невидимкой весь, кроме носа. Но почему остальная толпа не видела его? Я отталкивал старика, вырвался и тут проснулся. Светлое пятно с решеткой стояло против меня.

Мне еще предстоит развлечение благодаря появлению тюремного дантиста. На воле, положим, вырывание зубов не доставляло удовольствия. Так ведь то на воле!

Полугодие пришлось не на 24-е, а 26 июля, ввиду краткости февраля.

Иногда арестант спросит на прогулке:

— Скоро ли вам выходить?

— Через полгода.

— Еще много!

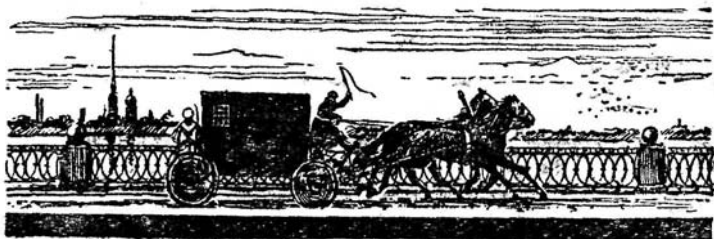
— Да, еще много, — искренне отвечаю я, а сам без конца повторяю число остающихся недель и дней.

Раньше большой срок давил, и нелепость условий

жизни не замечалась, только теперь она стала бросаться в глаза. Для чего, спрашивается, разумный человек сидит в клетке и получает пищу через дверную дыру, точно зверь? Зачем эта дверь всегда на замке? К чему глазок в двери и решетка в окне? Почему я не могу выйти на свежий воздух, когда хочу? Зачем я должен во время прогулки ходить по кругу, все по одному направлению? Почему на свидании нужно говорить через двойную сетку, считая минуты? К чему скучающий свидетель на свиданиях? Почему не могу разговаривать, когда и сколько хочу? Ведь через шесть месяцев это не будет грозить гибелью государству, почему же сейчас это так опасно? Почему, встречая на прогулке близких и дорогих мне людей, я не могу пожать им руку, не могу сказать «здравствуйте»? Порой вся здешняя жизнь начинает казаться сплошным глупым сновидением.

Далее, почему мне не разрешили получать «Ниву»? Какой вред от ее иллюстраций? К чему эти ограничения в пище? Запрещается все рыбное, сладкое, соусы, овощи, ягоды. Пусть я не чувствую от этих запрещений никаких неудобств, но не глупо ли, что я не могу получить этих вещей, если бы захотел? Зачем я должен убивать время за идиотскими коробками и пачками, когда мог бы делать настоящее дело? Почему даже в минуты, свободные от казенной работы, какие-то люди всегда могут войти и помешать мне? Все здесь соединилось, чтобы мешать умственному развитию и здоровому существованию организма. И эти помехи не результат стихийной силы, а созданы искусственно. Толпа людей, из которых каждый сам по себе, может быть, и не плохой человек, существует здесь лишь для того, чтобы отравлять мне жизнь. И эти отравляющие жизнь люди сами тяготятся своей службой; многие из них желают мне добра, а отдают всю свою жизнь на то, чтобы делать зло. К чему же существует человеческий разум?





## XII

### ПРОВОДЫ. ПЕРЕСЫЛЬНАЯ ТЮРЬМА

В самом конце мы все трое — Александр, Вася и я — получили письмо от товарища, который вышел отсюда в июне. Он писал:

«Разговор о вас не прекращается за всю нашу дорогу, и, конечно, не вам жаловаться на недостаток любви к вам. Я не могу передать того чисто праздничного настроения, с которым мы приехали в Москву и с которым не расставались вплоть до разлуки. Все мы, несмотря на значительную разницу в наших летах, положении и убеждениях, так тесно и крепко подружились, что когда пришлось расставаться, то все мы пережили довольно-таки тяжелые минуты, и дел<sup>®</sup> не обошлось без слез. Все это славный, чудный народ. Ехали мы очень весело, хорошо и удобно. Хотя и было несколько тесновато, но на ночь всем хватало по длинной скамье. Начальство нас не теснило, а ощущение давно неиспытанного удовольствия быть в компании порядочных людей было так сильно, что наша поездка напоминала скорее увеселительную прогулку, чем этапное следование в ссылку. Впрочем, и у нас было не без тучки. Всем нам очень не хватало вас, дорогих друзей, и сознание, что вам еще довольно долго не испытать этого удовольствия, порядочно-таки отравляло наше настроение».



Это письмо очень подняло настроение. Ум до того привык к этим ежедневным уборкам, обедам, прогулкам, пению молитв и открытию коек по звонку, что с трудом усваивал представление об иной жизни и о возможности перемены. Правда, у меня на приемном листке написано: «Конец наказания 24 января», но что значат какие-то чернильные черточки перед наглядной неизменностью замков и решеток? Чтобы уверить себя, что освобождение не миф, припоминал о выходе на волю других товарищей.

«Но эти лица были арестованы по пустякам и сидели сравнительно недолго», — возражал упрямый голос-скептик.

«Краткость срока ничего не доказывает. Ведь освобождены же недавно некоторые шлиссельбуржцы после десяти-пятнадцати лет заключения».

«В самом деле,— готов я согласиться, —если освобождение возможно через пятнадцать лет, то тем менее можно сомневаться в его наступлении человеку, просидевшему каких-нибудь четыре-пять лет».

«Но разве ты видел своими глазами освобожденных шлиссельбуржцев? — упрямится голос-скептик. — А если не видел, то их освобождение так же мало вероятно, как и твое собственное».

Полученное письмо всем своим содержанием, всем своим настроением свидетельствовало, что освобождение вообще возможно, и сломило упрямство голоса-скептика. От этого письма разлилось какое-то блаженно-успокоительное чувство, и первые три недели августа прошли более спокойно.

Особенно выдался один вечер. Я стоял у окна. Было тепло и тихо, но не душно. И все было проникнуто необычайной мягкостью. Мягко и нежно звучали удаляющиеся звуки гармоники, и чист был задушевный голос певца. Не скрипели барки. На одной из них мерцал огонек. И от него долетали то звук смеха, то отрывистые, но мягкие звуки слов, которых нельзя было разобрать, то обрывок песни. Воображение создало вокруг огонька сцену, столь любимую в детстве: костер на лужайке, и прозрачные звуки листвы прибрежного тростника, и таинственный мрак на реке, и группу молодё-

жи вокруг кипящего котла. Не говорится, не поется, лишь изредка отрывистые фразы. Только бы дышать да смотреть на звездное небо, да чувствовать неисчерпаемую полноту юных сил!

Как хорошо вспомнить это прошлое настроение с такою яркостью!

Темно, и не видно блеска Невы. В черной пустоте мелькнул зеленый огонек невидимого парохода. Чуть слышны шипение и плеск воды. Свистка не было, и очарование общей мягкости не было нарушено. Не слышно близких экипажей, а из города доносится ритмический гул, как дыхание спящего великана. А вдали — зарево городского освещения. Пройтись бы там по улице, любуясь движением, останавливаясь перед магазинами! А с шумного проспекта пройти бы в полутемный переулок, где жил перед арестом! Кто живет теперь в этой квартире?

Мягко светят фонари за Невой, только новый тюремный фонарь своей резкостью нарушает гармонию мягкого вечера, незаметно вливающего мир в сердце. Деревья на лужайке светятся сказочным фантастическим отблеском. А в небе медленно плывет звездочка, фонарь на невидимой мачте невидимого судна. Гул езды и всплески воды, мерцание звезд и дальнее зарево, переливы света и звуков — все слилось в гармоничное мягкое целое, сам становишься его частицей. Тюрьма на минуту спала с плеч.

Потянул ветерок. Свежесть приятна, но я вздрогнул от холода, и очарование гармоничной мягкости мгновенно исчезло. Перед глазами приевшийся тюремный двор, а за оградой — холодная жизнь, которой до меня нет дела. Поспешил оставить окно.

Еще только 21 августа. А я уже заношусь мыслью к концу сентября и иногда до того увлекаюсь, что вижу сентябрь уже наступившим. Моя мысль точно птица, привязанная на нитке. Забыв о привязи, она расправляет крылья, несется вперед и вдруг падает. Ищу обычных признаков здешней осени, чтобы иметь право сказать: осталось только два времени года — осень и зима. Конечно, знаю, что это будет преувеличением: не вся зима останется, а только половина ее, но гово-

рю вслух «вся», чтобы иметь случай утешить себя молчаливым возражением: «Нет, не вся!» В конце концов, однако, как всегда, берет верх одна мысль — что осталось еще очень много.

24 августа окончился шестой месяц, и оборвалось настроение.

Остающиеся сто пятьдесят три дня кажутся вечностью. Скука, тоска! Голова опять отказывается работать, книга валится из рук. Впечатление от вида через окно ничем не отличается от впечатления, голых стен камеры. Все эти елки, березы, акации смотрят неприветливо, потому что я сам холоден к ним. Серая Нева подгоняется ветром по течению и скучна своей казенной гладкостью. Послышалось обычное:

— Приготовьтесь на прогулку!

Стоя у окна, я не заметил даже, какова погода. Оказалось, что идет дождь, ветрено. Пришлось первый раз после лета надеть пальто и калоши. Целое событие! Как хорошо оказалось на дворе. Ветер сильный, небо сплошь затянуто темносерыми тучами, и сверху непрерывно моросит. Настоящий петербургский день! С каким удовольствием подставлял я лицо дождю и ветру! Как бодро ходил по кругу! Сколько воспоминаний вызвала перемена погоды! Арестанты одеты легко. Многие опешат покинуть прогулку, и оставшиеся прибавляют шаг. Это всегда приятно!

Почему я не был обрадован окончанием шестого месяца? Не потому ли, что где-то, в неосознанной глубине мозга, я уже раньше порешил, будто осталось не шесть, а только пять месяцев? Против воли готов совершиться переворот в моем календаре — решение не брать вовсе в счет неполный месяц. Вообще же месяц теперь — такая бесконечно большая величина, что счет сам собой перешел на недели. Кстати: теперь остается сто пятьдесят три дня, а когда-то оставалось столько же недель. Теперь день за неделю!

25 августа все же пришел в радостное волнение от мысли, что осталось меньше пяти месяцев. Теперь дождаться бы только 19 сентября! В этот день выйдет Александр. Он мне заслоняет свет! Ему остается еще больше трех недель — ужасно много! А ведь мне не

три, а почти еще двадцать две недели, — возможно ли не приходиться в ужас? Поскорее бы Александр вышел!..

Раньше Александр высоко держал голову. Теперь он весь съёжился, и походка стала торопливой, а лицо более серым. Я просил его сообщить подробнее о переживаниях последних дней и получил следующий ответ:

— Чувствую себя все еще довольно спокойно. Думаю, что совсем не то было бы, если бы мне пришлось расставаться с такими учреждениями, как Петропавловка или предварилка. Я нахожу, что нам, политическим, сидеть здесь, в Кресте, в миллион раз лучше, чем в бастионе или на Шпалерной. Больно уж там донимают нашего брата бдительным надзором. Постоянное заглядывание в камеру действовало на меня всегда самым угнетающим образом. Затем, где вы найдете такой чудесный вид, как из камер нашего коридора? Для нас это громадное развлечение. А совместная прогулка, баня и т. п.? Пожалее ли я о чем-нибудь, оставляя тюрьму? Пожалее только одних товарищей и, конечно, буду рад за себя, что расстаюсь с гнусной одиночкой. Она больше всего меня допекала. Провожу свои последние дни так же, как проводил их с 25 апреля, когда меня освободили от работы. Конечно, теперь чаще, чем раньше, являются минуты веселья. Стоит только посмотреть на исчерченный календарь и мою ленту, от которой каждое утро отрезал по маленькому кусочку, и на зарубку, сделанную на столе, по которой я измерял, какая часть ленты отрезана и какая еще осталась целой... и я раздражаюсь радостным смехом, веселой песенкой или нечленораздельными звуками. Очень часто стала приходиться в голову такая мысль: «Как я мог прожить здесь столько дней и не умереть? Ведь остается всего четыре-пять дней, а я не знаю, проживу ли я их так же благополучно, как прожил раньше. Раньше я мог довольно спокойно слышать грубые выходки надзирателей с арестантами (увы, притупилась впечатлительность!) и прочие мерзости, а теперь они стали меня сильно раздражать, и я с удовольствием в такие минуты думаю, что скоро я далеко буду от этой ямы. Способности понимать книги

не утратил, но только книги легкого содержания. Пробовал читать серьезные статьи, но не даются. Благодаря этому последняя книжка «Русского богатства» лежит почти нечитанной: я ее несколько раз перелистал и этим ограничился; беллетристику в ней прочел. В конце концов я горжусь тем, что перенес сравнительно легко многомесячное заключение.

Я все думаю об Александре. Кажется, уж неделя прошла с тех пор, как я сказал: «Послезавтра он выходит», — а между тем и в настоящий момент остается в силе «послезавтра». Чтение совсем не ладится: это неприятное предостережение для моего января. Если я так волнуюсь за другого, то что же будет в январе?

На другой день во время прогулки шедший позади меня уголовный сказал:

— Вон тот, высокий, в картузе, завтра выходит.

— Знаю.

В это время раздалась команда «домой». Александр приподнял шляпу. Я ответил тем же,

— В последний раз! — сказал тот же арестант.

— В последний раз! — невольно повторил я, следя глазами за входившим в дверь Александром. Он не оглянулся. Когда и где мы увидимся?

Вот, наконец, и 19 сентября. Пробуждение было смутное и нерадостное. Первая мысль — о бесконечном дне впереди. Решил лежать, уткнув лицо в подушку, пока наскучит. Позвали на прогулку. Надеялся видеть Александра в окне, но оказалось, что его почему-то увезли рано утром. Это взволновало: стало радостно за него и грустно за себя. Воображаю, как был взволнован Александр, ожидавший выхода только после обеда. Неужели и для меня настанет такое же утро, радостное до ужаса?

Если и настанет, то еще не скоро: сто двадцать семь раз еще должен я проснуться с мыслью, что предстоит одолеть мерзкий тюремный день. Все стало ненавистно: и эта идиотская прогулка по кругу, и воробьи, и голуби, и книги, и даже тетрадки. Разве все это жизнь? Жизнь не здесь, а где-то далеко, там, куда исчез Александр. Знаю, что, может быть, уже завтра весь буду проникнут ликованием по случаю того, что

и 19 сентября осталось позади. Но сегодня только лишний раз убеждаюсь, что никакие сроки, кроме срока собственного освобождения, не могут доставить полной и прочной радости. Сравниваю себя с той собакой, которую повар приманил костью и затем ошпарил кипятком. Бесконечное количество раз повторялась эта жестокая забава, а собака не могла отучиться от глупой доверчивости. Так и я не могу, только что разочаровавшись в 19 сентября, уже останавливаюсь невольно на 18 октября, когда разменяю последнюю сотню дней.

Типичный мертвый день, каких так много в одиночке! Погода хмурая. По временам начинается дождь. В камере полутьма. Обычно прошла утренняя уборка, и дверь захлопнулась, чтобы выпустить меня только на прогулку перед самым обедом. В течение пяти часов ни мне ничего не понадобилось, ни от меня ничего не требовалось. Со двора не доносилось ни звука, даже при открытой фортке; только сознательно вслушиваясь, различаю шаги десятков арестантов. Изнутри здания доносились только обычные свистки, которых я тоже не замечаю, если не вслушиваюсь. В коридоре за весь день никто не возвысил голос, фельдшер не заходил, хлеба и соли не заносили. В течение дня солнце ни разу не проглянуло, и я не мог следить за часами по солнцу.

После обеда чувство мертвенности усилилось. Реже стали свистки. Около пяти часов вечера я не вытерпел и позвонил надзирателя.

— Уберите, пожалуйста, посуду.

Это были единственные слова, сказанные мною за день.

На вторую прогулку позвали поздно, и тут выпало полчаса оживленного времени. Привезли тюки картона. Арестанты разгружали возы; слышались смех и ругательства. Рядом кололи дрова. Это перенесло мою мысль на два с половиной года назад, когда впервые пришлось увидеть здесь эту работу. Тогда думал, что звуки раскалываемых дров — единственные, может быть, не специально тюремные звуки, которые мне придется услышать в течение трех лет. Теперь я с отра-

дой подумал, что время приходится считать уже не годами, а месяцами. Потом будут только недели, а затем только дни и, наконец...

Как многое переменялось на свете со времени моего ареста! Новорожденные младенцы уже дерутся, гимназисты успели окончить университет, студенты стали полноправными членами культурного общества и успели войти во вкус пользования узаконенными формами воровства; поэтические девицы располнели и пропахли кухней и пеленками; иных друзей уже нет в живых, а другие переменялись, так что у меня с ними не найдется точек соприкосновения.

А сколько перемен в политической жизни! Вероятно, народились новые течения; учения, бывшие в зародыше, окрепли в борьбе или отцвели. Сколько мне придется потратить времени, чтобы понять все новое?

Дни конца сентября были тоскливые, и виноват в этом отъезд Александра. Пока он был близко, чувство одиночества смягчалось. Бывало влезешь в конце дня на окно и видишь, как летят воробьям куски булки. Ни лица, ни руки не видно, но я знал, что это Александр стоит у окна и переживает сейчас то же самое, что и я. То были приятные минуты, и воспоминание о них является первым за три года случаем, когда я обратился к прошлому с сожалением.

Увидел на прогулке Васю. Заметив меня в окне, он весь встрепенулся и преобразился: видимо, и он тосковал. А вечером в тот день в церкви мы стояли совсем близко: он впереди и чуть вправо от меня. Мы могли пожать друг другу руку, не делая шагу. Но хватило характера избежать скандала, который отразился бы на других товарищах. Зато мы часто переглядывались и с трудом удерживались от радостного смеха: он все время кусал платок, а я до боли стискивал зубы. На душе стало совсем легко. Я считал, что после отъезда Васи мне останется полтора месяца. Но все случилось по-иному.

Еще в начале сентября неожиданно пришел старший тюремный врач. Сперва я отнесся к его рассказам спокойно, а потом стал вдруг волноваться. Он сказал, что это от разговора. Я давно и сам заметил, что

на свидании утомляюсь разговором через пять или десять минут, а имея дело с начальством, — через две-три минуты.

Неожиданный визит врача заставил задуматься: что он означает? Надзиратели говорят: «Значит, о вас кто-то хлопочет». Но я никому не разрешил хлопотать за меня и не верил надзирателям. Но не придумало ли чего-нибудь само начальство? Нет! Прочь эту мысль, нужно спокойно ждать 24 января.

Утром, 9 октября, мирно сидел за письмом, как вдруг потребовали денежные квитанции для расчета и сообщили, что сегодня же переведут из этой тюрьмы.

— Куда?

— Вам объявят. Ничего не знаю, — сказал старший надзиратель.

Через четверть часа зашел помощник.

— Вы интересуетесь знать, что сказано в бумаге? Вам отсидка заменена высылкой.

— Бумага у вас?

— Нет еще. Вам объявят ее официально часов в одиннадцать.

Получил письмо, но прочесть не могу: ничего не понимаю. Нужно связать вещи. Но я ничего не соображаю, ни за что не могу взяться. Помню только, что сегодня до срока остается сто семь дней, или три с половиной месяца, да еще знаю, что через несколько часов у меня будет папироска. Последний раз приготовил воробьям булку: завтра они, бедные, тщетно будут ждать. На дворе несчастные арестанты ежятся от холода и прячут руки в рукава. Мог ли я сегодня предполагать, что гулял в последний раз? Даже не простился с Васей!

Теперь  $10\frac{1}{4}$  часов утра. Время идет медленно. Однакож веселое настроение начинает понемногу овладевать мною, тогда как в первый час я как будто и не чувствовал радости благодаря слишком большому волнению. Вспоминаю, что три года назад, получив неожиданный приговор, я не сразу почувствовал его тяжесть. Ни сидеть, ни лежать не могу. Пишу стоя.

Волнуюсь о телеграммах: будут ли они отправлены прямо из тюрьмы, без задержек у прокурора?



11 часов. Проверил книги; получил письменные принадлежности, хранившиеся в конторе. Чувствую усталость и общую слабость. Ноги болят.

В газете с трудом осилил телеграммы. Свисток! Не меня ли? Да, назвали номер моей камеры. Прочли, что на основании «высочайшего повеления 12 апреля 1890 года» предписывается немедленно отправить меня в Восточную Сибирь. Это мне непонятно, так как содержание документа 12 апреля неизвестно.

Слышен звон посуды. Скоро обед, а затем позвуют в цейхгауз. Прощай, Кресты! Как жалко бедного Васю: ему пришлось остаться одному!

Перед обедом старший надзиратель сказал.

— Вахтер просит пораньше прийти в цейхгауз. Как только пообедаете, дайте звонок!

На обед пошло две-три минуты. Я поспешно сложил вещи и взглянул на двор... неужели последний раз? Сейчас воля! Нет, это невозможно, я брежу! Нужно рассеять этот бред.

Всех, кроме меня, увели. Я вышел на лестницу.

«Значит, совсем! Итак, это не бред, не сон! Прощай навсегда, последняя камера, державшая меня в своих каменных руках тридцать месяцев! Кто займет? Так же ли долго предстоит ему мучиться?»

Вот и подвальная комната цейхгауза с медной ванной, в которой заставили меня мыться три года назад. Распоряжается тот же вахтер, который когда-то принимал от меня вещи.

— Тут проверки хватит на целый час! — заметил он.

Наконец настал момент, о котором я не раз мечтал, — первое действие, не похожее на жизнь в одиночке: принесли дорожную корзинку, и началась проверка вещей. Против ожидания, никакого восторга я не ощутил: вахтер торопил, и сверка наличности с описями поглотила все внимание; потом увязка вещей — опять наскоро. Вместо часа мы окончили работу в четверть часа и перенесли вещи в канцелярию. Здесь, как когда-то, я увидел за деревянной решеткой новоприбывших. Вот и жильцы для покинутой камеры! Для расчета с кассиром меня ввели в комнату, где дают личные

свидания. На диванчике две девушки ждали свидания с политическим. Кассира еще не было. Я остался в обществе двух девушек и тюремного дьякона; все молча сидели по углам. На столе лежал свежий номер газеты. Пишут что-то о пересмотре дела Дрейфуса.

Ожидание затянулось. Хотелось дать понять посетительницам, что я не абсолютно чужой для них. Говорю вошедшему помощнику:

— Зачем из-за меня откладывают свидание? Увели бы куда-нибудь. — Помощник спохватился, и я при уходе обменялся молчаливым приветствием с посетительницами: они меня поняли.

Еще около получаса провел около уже известной деревянной решетки. Новоприбывших повели в цейнгауз; потом прибыл еще один, старый и сгорбленный. В канцелярии все это время находились солдаты: двое из них оказались будущими моими конвоирами. Один из помощников опросил:

— Вы в тюремной карете поедете или желаете нанять вольную?

— Конечно, в тюремной! — С путешествиями в извозничьей карете у меня были связаны слишком неприятные воспоминания о поездках на допросы в жандармское управление.

Ожидание порядочно надоело, когда, наконец, позвали к кассиру. Встретились те же посетительницы, уходившие со свидания; они первые приветствовали меня поклоном, — между нами уже установилась молчаливая дружба. И это вновь завязавшееся мимолетное знакомство было первым намеком на что-то новое и светлое, что меня ждет.

Я волновался, хотя большую часть времени был занят хлопотами, и все опешил. В момент выхода из тюрьмы думал о том, чтобы конвойный не рассыпал книг и не задержал, таким образом, отъезд еще на несколько секунд. На козлах тюремной кареты сидел знакомый мне толстяк-кучер: он приветливо улыбнулся.

Благодаря недавно выпавшему снегу карета дребезжит не так сильно, как, помню, дребезжала по голой мостовой. Порхнул воробей, — не один ли из тех,

что летали в камеру? Прощайте, мои маленькие хитрые друзья! Рабочие возили тачками уголь с барки; один из них, взглянув на карету, неприятно засмеялся. Тюрьма скоро скрылась из виду, только купол тюремной церкви провожал нас до самого поворота. Я уже не мог видеть тюрьмы с того места, на котором сидел.

«Не пересесть ли, чтобы взглянуть в последний раз на место стольких мучений? Нет, чорт с ней», — подумал я и в тот же момент вспомнил, что там остались товарищи: нужно послать им мысленно прощальный привет! Но тюрьмы уже не удалось увидеть. И жалко и радостно: связь с прошлым окончательно порвана! Карета покатила по Литейному и Сергиевской, Путник не так устремляется к светлому ключу после грудного перехода, как я жадно впитывал в себя все, что видел на улице. Вагоны конки, заново выкрашенные, глядят весело. Знаменская улица, с которой у меня были связаны многие воспоминания, стала чужой: выросло много новых домов и еще несколько строилось. Много, вероятно, переменялось в жизни со времени моего изъятия. Сумею ли понять новое?

Даль Невского проспекта задернута туманом. На башне Николаевского вокзала часы показывали 3 часа 35 минут. Женщина, ехавшая на извозчике, говорит что-то пятилетнему ребенку, указывая на меня, и беспечный мальчик вдруг делается серьезен; он все время потом не спускает глаз с кареты. О чем он думал? Вспомнит ли он, будучи взрослым, свое детское впечатление, когда, может быть, и сам попадет в тюрьму? Городовой вел троих оборванных бедняков мимо Боткинской больницы. Перед тем как-то забылось, что я все еще такой же арестант, как и эти оборванцы. Мелкие уличные впечатления вызвали иллюзию, будто тюрьма уже навсегда позади. Вид арестованных вернул к действительности: воля за дверью кареты, а я еще долго буду мыкаться по пересыльным тюрьмам, чтобы достигнуть, наконец, вожделенной пристани в каком-нибудь захолустье Сибири. Но разве это будет воля?

В пересыльной тюрьме ждало разочарование: курить не дозволяется. А с мыслью о папироске нераз-

рывно было связано представление об освобождении. Осмотр вещей производится строже, чем при приеме в дом предварительного заключения. Я все куда-то спешил и сдал вещи в цейхгауз без проверки: на них написали мелом букву «Н», то-есть не осмотрены. Значит, придется еще присутствовать при том, как разворачивают и обнюхивают каждый носовой платок.

Хорошо хоть то, что с письменными принадлежностями нет стеснений. Книг не дали на руки до просмотра их помощником, хотя на каждой книге есть штемпель одиночной тюрьмы. В конторе дежурный помощник говорил по телефону:

— На малолетнем отделении мальчишки шумели. Я рассадил их по одиночкам. Один стал кричать и грозить побить стекла. Я посадил его в карцер. Он и там стучит и кричит. Что с ним делать? Я думаю, не обращать внимания... Надеть? Я не хотел, потому что это совсем маленький мальчонка... Так надеть? Ну что ж, можно!

Что именно надеть? Может быть, кандалы, может быть, горячечную рубаху. Нет, это еще не воля!

Камера такая же, как в одиночной тюрьме. Всюду грязь. Под окном дрова, а вдали казачьи казармы. Всюду замки. С потолка спускается сетчатый проволочный цилиндр для лампы, — дверца цилиндра на замке, хотя сетка изломана. Оконная рама также с замком. Что же я выиграл от перевода сюда, если оставить в стороне надежду на скорый отъезд? Я лишился спокойствия, книг и определенно установившихся отношений к окружающим, приобрел право пользоваться собственной подушкой и постельных паразитов. Нет, это еще не воля!

Совершенно не таким представлял я себе первый день по выходе из тюрьмы: казалось, что это будет мгновенное воскресение, и никакие рассказы о мытарствах по пересыльным тюрьмам не могли разуверить в этом. Одиночка еще в силе. Прежние упования перенесены на Москву; только к надежде на розовое будущее примешивается уже доля скептицизма.

На следующее утро я вступил в объяснение с помощником, обходившим заключенных по поводу взя-

тия в камеру лишних вещей и выразил протест против держания меня в одиночке.

— У нас нет заключенных вашей категории. Впрочем, я скажу начальнику.

Потом вызвали в контору по поводу книг. Хотел сегодня же отобрать те из них, которые решил не везти с собой. Помощник предлагал отложить это дело до составления общей описи имущества. Я настоял на своем. Книги были принесены в камеру, и я занялся сортировкой их под наблюдением надзирателя. Только что кончил, как зовут к начальнику.

— Вы не желаете быть в одиночке? Но мы не имеем права помещать вас с заключенными других категорий. Все, что можно, — это перевести вас в большую камеру с пятью кроватями. Однако вы будете там один. Дверь решетчатая, и можете развлекаться видом того, что делается в коридоре. Желаете? — На секунду явилось желание отказаться, чтобы избежать лишних волнений; к счастью, язык сказал «желаю», и меня перевели.

Я ахнул от восторга! Вместо грязной тюремной камеры — жилая чистая комната! В ней кровати ни к чему не прикованы, большой деревянный стол и прочная мебель. Все удобно, весело. Два огромных окна выходят на открытое место. Подоконники, как в человеческих жилищах, находятся приблизительно на уровне стола; потолок без сводов; пол деревянный, выкрашенный желтой краской: я не имел счастья ходить по такому полу несколько лет, в других тюрьмах вместо досок асфальт. Фортка большая, и нет надобности открывать ее каждые полчаса, рискуя простудиться. Постели чище и удобнее, чем в одиночке.

Разложив вещи, я стал ходить. Как странно чувствуется, когда, идя по комнате, делаешь шестой, седьмой, наконец десятый шаг все по одному направлению. Давно отвык от этого удовольствия. Чистый умывальник так и тянет к себе. Журналы, столько лет недоступные, не интересуют. Та же участь постигает книгу.

Время идет медленно. Я все хожу.

День, повидимому, на исходе. Жаль, что не было свидания.

Вдруг зовут. Сразу разволновался. Спешу по коридорам, потом по лестнице вниз; останавливаюсь, чтобы успокоиться; не понимаю, из-за чего это волнение, и уверяю себя, что в данный момент ничего важного не происходит. Напрасные усилия!

Мы обменивались первыми рукопожатиями после двухлетнего знакомства. Васса Михайловна — моя неизменная посетительница — тоже волнуется. Мне пришлось прибегнуть к платку: стыдно и досадно! Васса Михайловна уверяет, что это естественно. Я завалил ее поручениями. Завтра она опять придет. Возвращался со свидания с приятной мыслью, что за хлопотами день прошел почти незаметно. Взглянул в коридоре на часы: только половина второго!

Время подвигается медленно. Я хожу, хожу и хожу. Ни сидеть, ни лежать нет возможности. Нет сил остановить себя у окна и взглянуться хорошенько в открывающийся вид. Дома, деревья, площадь... Подробности не интересуют.

Настали сумерки. Усадил себя было насильно за книгу, да вспомнил, что после восьми часов ходьба будет беспокоить соседей: в моем распоряжении остается всего четыре часа. Книга отложена в сторону. Ноги болят, но после нескольких часов боль исчезает. Вдруг получаю поздравительную телеграмму: начинаю ходить быстрее. Голова болит; сон необходим. Что делать: утомить себя дальнейшей ходьбой или насильно уложить в постель?

Противная черная ночь еще глядела угрюмо в камеру двумя своими огромными глазами, когда я, очнувшись от сна, лишенного всяких видений, почувствовал, что больше не засну. Который час? Если сон был достаточно долг, то день будет короче и, что еще важнее, я не буду чувствовать себя разбитым. Все мускулы болели при малейшем движении, но это не беда: боль пройдет, как только заведена будет ходильная машина. Первой мыслью по пробуждении было уверить себя, что случилось нечто очень радостное. Когда-то, вскоре после ареста, когда первой мыслью нового дня бывало тяжелое сознание несчастья, я думал о дне, когда горе минет и пробуждение будет радостно.

Я ждал этого радостного настроения на сегодня, но оно пришло не само собой: сперва подумал, что по давно составленному расписанию должен в этот день радоваться, и только после этого действительно обрадовался, лишь искоса бросив недружелюбный взгляд на темную ночь. Пробыло половину часа; наконец раздалось четыре удара. Это приятно: я спал около шести часов. Еще в течение часа удалось удержать себя в постели, прежде чем возобновить ходьбу.

К двери подошел мальчик, на вид лет двенадцати. Он высылается за нищенство. Открытое, чистое лицо с умными серыми глазами и очень светлыми волосами; голос детский, между тем мальчик уверяет, что ему шестнадцать лет.

Я спросил о родителях.

— Отец девятый год помер... — Мальчуган замолчал.

— А мать?

— Матка путается. — Эти слова произносятся, очевидно, не в первый раз, тем не менее в них слышится грустная нотка.

— У кого будете жить в деревне?

— Там дядя... да у него жить не буду, — в деревне никогда не бывал. Сейчас же поверну в Питер. Я и родился здесь.

Говорят, что мне скоро приведут товарища. Кто он такой? Как мы встретимся? Хотелось бы обнять его, но вдруг он примет это сухо? Лучше проявить некоторую сдержанность. Кто из нас будет больше работать языком? О чем будем разговаривать? Не заподозрит ли он во мне самозванца? Иногда мысль о сожителе пугает: я несколько лет не вел разговоров длиннее получаса, и вдруг возле будет постоянно находиться человек! Может быть, разговор скоро утомит? Или нет? Рассказывают, что некоторые после одиночки говорят без конца.

Никаких планов и расчетов относительно будущего у меня нет. Вопреки ожиданию, переход из одиночной тюрьмы оказался не цельным грандиозным событием, а рядом разрозненных впечатлений, которые глубоко врезались в отвыкшее от них сознание и вытеснили

всякие обобщения: нет ни охоты, ни способности заглядывать вперед. Когда никаких новых впечатлений не является, тогда кажется, будто ничего не изменилось: ведь я попрежнему один. Все-таки надеюсь на скорый переход к лучшему, и потому возвращение в одиночную тюрьму, если бы оно произошло, было бы страшным ударом. Но вспоминаю я свою бывшую камеру без всякого неприятного чувства: она кажется чем-то почти своим, к чему привык, и не верится, что навсегда расстался с нею, с людьми и порядками одиночной тюрьмы.







### ХІІІ

#### КОНЕЦ ОДИНОЧКЕ

Я с утра поджидал прихода товарища. Пробило десять: пора бы ему явиться. Только что начал читать, как в коридоре послышались шаги и голос надзирателя:

— Сюда.

Вошел человек с измученным лицом и растерянно остановился посреди камеры.

— Кто вы? Откуда? — спросил я волнуясь.

— Снятков. Из больницы Николая Чудотворца. Работал слесарем, потом находился в доме предварительного заключения.

— Кто с вами арестован? — Он назвал несколько фамилий, из которых некоторые были мне известны.

— Вы, — голос мой дрогнул, а рука невольно ухватилась за рукав новоприбывшего повыше локтя. — Вы первый товарищ, которого я вижу по выходе из одиночки. — Затем я назвал себя; Снятков вторично пожал руку и, видимо, был обрадован встречей, хотя раньше никогда не слышал обо мне.

Беспорядочно перескакивая с предмета на предмет, мы выложили друг другу самые общие сведения о своей личности и минут через десять замолкли. Постояв друг перед другом в каком-то тяжелом недоумении,

мы начали молча и врозь ходить из угла в угол. У меня было странно и скверно на душе. Странно потому, что в голове не было решительно ни одной мысли, ни одного сознаваемого чувства. Если б спросили о чем-нибудь в тот момент, я едва понял бы самый простой вопрос. Потом явилось сознание, что происшедшая встреча совсем не то, о чем я мечтал. Кто виноват в этом? С одной стороны, Федор Федорович (так зовут Сняtkова), очевидно, еще не совсем оправился от душевной болезни: Он туго воспринимает, что ему говоришь, и сам говорит отрывисто и мало. Ну, а я сам? Почему же мой язык не развязывается? Ведь было время, когда ловишь надзирателей, лишь бы иметь слушателя. Теперь слушатель налицо, а ты не находишь слов! Общего между нами много: читали одни и те же книги, переживали много одинаковых впечатлений, жили до ареста в одном городе.

Почему теперь не знаешь, с чего начать?

Почему он молчит? Не потому ли, что в больнице находился в общей камере и возможность разговаривать для него не новость? Слава богу, он что-то хочет сказать. Прекращаю хождение и жду с надеждой, что сейчас прорвется плотина и слова польются безудержу.

— Я плохой собеседник, — виновато говорит Федор Федорович.

Не помню, что я ответил, но подумал, что, значит, и он переживает почти то же, что я. Опять началась удручающая молчаливая ходьба. В голове пустота. Это невыносимо.

— О чем вы думаете?

— Право, ни о чем.

Ходьба продолжается. У меня все более зреет убеждение, что в нашем молчании виновато ненормальное состояние Сняtkова и что именно оно давит меня. Говорю, что хотел бы повидаться с родственниками, да боюсь, что им не удастся приехать из провинции в Москву.

— А у меня своя забота, — ответил Сняtkов.

— Секрет?

— Секрет, пожалуй, небольшой, только стоит ли говорить?

— Если можно, то, конечно, говорите.

Я имел в виду, что, высказавшись, он почувствует себя легче.

— Вы не знаете нашей среды... Все равно скажу. У меня в Петербурге есть брат, сестра. Только раз за целый год один из них пришел ко мне, да и то к окну больницы на пять минут. При моем обыске рылись и в их квартире, потом брата держали две недели под арестом. Все они так перепугались, что боятся просить свидания. Теперь же, когда узнали о назначении в Сибирь, совсем стараются не говорить и не слышать обо мне. Одного брата взяли в солдаты, так скрывают, где он служит. Даже моих вещей не присылают: в чем арестовали, только то и есть. В тюрьме и больнице ходил в казенном. В больницу приходила на свидание чужая девушка.

Потом он попросил меня написать телеграмму к брату, прибавив:

— Вы лучше знаете, как это сделать.

Наш разговор опять был недолог, но все-таки после него стало легче.

Да и говорили мы спокойнее. Только мне показалось, что иногда, сказавши половину слова, я останавливаюсь и затем повторяю слово сначала.

— Не замечаете ли вы, что я заикаюсь?

— Нет, не заметил.

Понемногу мы передали друг другу впечатления и наблюдения последнего периода жизни. Снятков с удовольствием вспоминал о больничных спектаклях, в которых сам принимал участие; потом сообщил о случаях побегов из больницы и пожарах, во время одного из которых сгорел больной, запертый в изоляторе. От больничных пожаров разговор перешел к здешней тюрьме.

— Посмотрите, стены, полы, мебель — все деревянное, в тюфяках солома. Все может вспыхнуть моментально, а на окнах решетки. Куда мы денемся?

— Вот под потолком окно в коридор без решетки.

— А сколько по коридорам железных дверей? Успеют ли их открыть?

— Да, лучше было бы поскорее вон из этой-тюрьмы.

— Во всех отношениях лучше. А когда можно ожидать отправки в Москву? Завтра среда. Этапы отправляются по средам.

— Меня не отправят так скоро.

Действительно, об отправке на другой день Сняtkова не могло быть речи, так как его бумаги не были получены из губернского правления. Мы приготовились расстаться до нового свидания в Москве. Жаль было оставлять Федора Федоровича в одиночестве, тем более, что я как раз имел случай убедиться, до чего он еще плох. Вымывши руки, он полез в карман пальто за платком, чтобы вытереть их.

— Федор Федорович, ведь у вас же есть полотенце!

— Где?

— Висит около пальто.

Сняtkов собирается вытереть руки посудным полотенцем.

— Не то, ваше с рисунком.

— Ах, я совсем забыл.

Надзиратель сообщил, что приходил брат Сняtkова и спрашивал, что делать с инструментами, что какая-то барышня просила свидания, но ее не пустили, и она поехала хлопотать об этом в главное тюремное управление. Федор Федорович повеселел, узнав об этих заботах.

В воскресенье утром появился сундук с вещами Сняtkова, и комната наполнилась запахом нафталина. После обеда было у Федора Федоровича свидание с его барышней, Смирновой. Вернулся он взволнованный и долго бегал из угла в угол; наконец воскликнул:

— Десятую зубочистку сломал! — зубочистка из гусяного пера служила нам суррогатом папироски.

— Почему? — спросил я.

— От радости, что увидел Смирнову. Ее телеграммой вызвали из Тамбовской губернии по случаю моего внезапного перевода сюда.

— Как видно, она молодец.

— Такой человек, что больше таких и не бывает!

Я не возражал, а подумал о том, как дорого для заключенных всякое проявление участия со стороны оставшихся на воле и какое глубокое чувство благодарности должно навсегда сохраниться в душе бывшего арестанта к тем, кто когда-то помог ему в трудную минуту. Мы начали ходить, без труда установив согласие в ходьбе, тогда как в первый день не могли достигнуть этого, что меня очень раздражало. Чтение все еще плохо дается. Только однажды Снятков до самозабвения увлекся драмой Ковалевской «Борьба за счастье», изредка слышалось невольное выражение восторга. Я радовался, глядя на это увлечение, и завидовал. Мешала ли мне читать мысль о предстоящей перемене положения? Сознательно — нет. В одиночестве я исчерпал всю опущенную человеку долю способности наслаждаться ожиданием будущего и могу жить только настоящим. Чем больше радости обещает близкое будущее, тем тяжелее мука ожидания и тем непригляднее кажется окружающее. Если же и случится заглянуть вперед, то мысль останавливается на пустяках и мелочах: может быть, это потому, что мысль о главном слишком бы волновала, а может быть, и вследствие потери способности обнять мыслью крупное целое.

Время идет медленнее всего по утрам. После 12 часов развлекаемся почти непрерывным чаепитием. По временам просматриваем юмористические журналы и под их влиянием сами придумываем загадки вроде следующей:

«Вопрос. В каком случае из двух половин не составит единица?

Ответ. Соединение двух полоумных не даст умного человека».

Часто затевается спор о том, сколько времени осталось до среды. В субботу один из нас, пессимист, говорил:

«Эта неделя еще не кончена, потом начнется следующая, следовательно, остается мучиться здесь целых две недели».

Оптимист возражал:

«Завтра воскресенье, которое уже нечего считать.

Остаются понедельник да вторник — только два дня».

Замечаем вдали пар движущегося паровоза. Снятков негодует:

— Чего этот паровоз шатается бестолку?

Для уборки камеры приходил мальчик лет пятнадцати. Четыре года назад он ушел от отца, чтобы избежать систематических истязаний; теперь приведен в Петербург для удостоверения личности, но отца никак не могут найти, и удостоверить личность юного бродяги некому. Что его ждет?

Я получил в конверте письмо с надписью: «Секретно и очень нужное». Оказалось, что некий поручик просит «взаимообразно» табаку, которого у меня нет. Говорят, что этот бывший офицер, еще молодой человек с распухшим лицом, состоит теперь в звании спиридона-повороты\* и проходит через пересыльную тюрьму аккуратно два раза в месяц. Вслед за поручиком какой-то Эпфер присылает в изящном конверте глянцевитую визитную карточку, на которой вслед за изысканными извинениями значится: «Если у вас окажется лишняя чистая пара белья, прошу наделить меня таковой».

Сняткову принесли дорожную корзину. Он с горечью воскликнул:

— Она вдвое меньше сундука!

— Попробуйте, может быть, и уложится: нужно только хорошенько придавливать платье. — Действительно, все вещи из сундука легко уместились в корзине.

Снятков бегал по камере и в восторге восклицал:

— Ха-ха! Вот так корзина! Все съела!

Кое-что из вещей мы увязывали в среду утром. Нетерпение разбирало все сильнее, а до 11 часов еще далеко. Началось бегание по камере.

Минуты стали часами, часы сутками: уверенность в скором отъезде слабеет. Когда же, наконец, раздалось столь нетерпеливо жданное слово «пожалуйста», мы отнеслись к нему совсем спокойно. Все внимание,

---

\* То-есть арестанта, высылаемого из столицы и сейчас же возвращающегося. Всю жизнь их называли «спиридонами-поворотами».

как и при выходе из одиночки, раздробилось на мелочные заботы.

В канцелярии было свыше двухсот арестантов, назначенных к отправке; большинство — спиридоны. Некоторые производили тяжелое впечатление своим болезненным видом; нашлись слепые, хромые; был один мальчик лет десяти, сбежавший от хозяина-лавочника. Конвойные принимали наши вещи, а затем отдельно часы, деньги и табак.

Наконец все формальности исполнены. Помощник просит конвойного унтер-офицера выводить партию. Мы вышли последние. На улице стояла незнакомая девушка.

«Не Смирнова ли это?»

Она. Мы поздоровались, как знакомые. Мы медленно поехали в карете в хвосте шедшей пешком партии. Смирнова шла по тротуару рядом с каретой. Проехав через товарную станцию, мы взшли на платформу, минуя пассажирский вокзал. Нас ввели первых. Усадкой в вагоны распоряжался какой-то полковник. К нему обратилась приехавшая проводить меня Васса Михайловна:

— Можно попрощаться?

— Не имею права дозволить. Это следовало сделать раньше.

Тем не менее мы обменялись рукопожатием. Полковник посмотрел укоризненно, но ничего не сказал. Открыли окно вагона. Пришел брат Сняtkова; при виде его Федор Федорович расплакался и не мог сказать ни слова; позднее он очень досадовал на себя за эту слабость. Поезд двинулся, вернулся по другим рельсам, и через секунду мы уже окончательно неслись вон из Петербурга.

В вагоне шел говор; выкрикивались приказания; кто-то закурил.

— Обожди курить, пока не выедем из города! — приказывает конвойный.

В другом углу тоже кто-то курит. Конвойный кидается туда и, ударив виновного кулаком в шею, выбивает папироску. Арестант крупно ругается, а в это самое время на другом конце вагона унтер-офицер уже

дает разрешение курить. У меня с непривычки разболелась голова от табачного дыма.

Мы смотрели в окно и прощались с уходящим вдаль Петербургом; потом приветствовали поля и деревья.

В Колпине высадилось около сорока Спиридонов, и в вагоне стало пусто; до станции Бологое появлялись отдельные лица из Новгорода и Боровичей, а в Бологое вагон опять набился битком. Были, между прочим, двое ссыльнокаторжных в кандалах. Один из них, осужденный на шесть лет за убийство, утверждает, что осужден невинно, что убийство совершено полицейскими, которые схватили потом первого прохожего и донесли на него; этому трудно было не поверить, глядя на лицо каторжанина и слушая его рассказ. Он еще надеялся на пересмотр дела. В деревне осталось семейство каторжанина из жены и трех детей. Они хотели следовать за осужденным, но не успели прибыть в город ко дню отправки. Теперь осужденный беспокоится, как бы жена не раздумала ехать.

Среди новоприбывших обращал на себя внимание энергичного вида субъект, с которым не пожелал бы встретиться ночью.

Он обращался ко всем конвойным с заявлением:

— Я дал кому-то из вас рубль: тридцать пять копеек на папирсы, пятнадцать конвойному за хлопоты, а пятьдесят копеек он должен принести.

— Он еще принес вам бутылку, — возразил унтер-офицер.

— Никакой бутылки не было.

— Ведь вы водку пили? Тут все солдаты набрались бродяги. Кабы мне не оставалось только шесть дней службы, я бы этого так не оставил. Признавайтесь: пили водку?

— Нет, не пил.

— Я же слышу по запаху.

— Ну, так пил. Только доставил не тот солдат, о котором говорю.

— Кто же?

— Этого я ни за что не скажу. Я ссыльнопоселенец, а не какой-нибудь петербургский стрелок.



В разговор вмешался старик арестант, сидевший на соседней лавке.

— Зачем поносить петербургских стрелков? Я сам пятнадцать лет стрелком хожу. Хоть не ссыльнопоселенец, а сумею сделать дело не хуже ссыльного.

Это заявление было встречено общим одобрением.

Ссыльнопоселенец после жаркого спора согласился со стариком и потом обратился опять к унтер-офицеру:

— Конечно, я не хочу из-за полтинника марать имя человека: если тот конвойный отопрется, дела не стану поднимать.

Унтер-офицер ушел, а в это время явился солдат и возвратил арестанту спорный полтинник, который он не успел передать своевременно. Вернувшийся вскоре унтер-офицер начал было вновь доказывать арестанту неосновательность претензии.

— Я уже получил деньги. Он сам принес.

— А-а...

Поезд шел быстро, и время у нас бежало также быстро. Федор Федорович стал у окна, да так и простоял, не отрываясь, до самой Москвы, в течение восемнадцати часов. О сне не могло быть речи.





#### XIV

#### В БУТЫРКАХ

В Москве от вокзала до пересыльной тюрьмы далеко. Карета с двумя конвойными оставила партию позади. Вот и тюрьма. Мы попали в старинную башенку с узкой бойницей под самым потолком. Сколько человеческих мучений видела на своем веку эта круглая клетка! Далекой старинной московской жестокостью пахнуло на нас, и мы почувствовали себя еще более беспомощными, еще менее обеспеченными от всякого произвола, чем в Петербурге. И точно в ответ на черные мысли раздалось приказание отобрать у нас все газеты, журналы, книги и письменные принадлежности. Последние были потом возвращены.

Через большой грязный двор мы достигли Часовой башни, одной из четырех. Прочие называются: Северная, Полицейская и Пугачевская — в память о сидевшем в ней Пугачеве. Наружный вид облезлой высокой башни, вход в нее по грязной каменной лестнице и, наконец, низкая полутемная камера с десятью кроватями — все это сильно расстроило Сняtkова. Он стал слишком нервно бегать из угла в угол. На вопрос: «Как себя чувствуете?» — ответил резкой фразой. Выждав немного, я обратил его внимание на надписи: на столе, на обороте табуреток, на оконных стеклах, на

виду и в самых укромных местах — всюду мы находили фамилии политических, проходивших раньше через эту башню. На оконном стекле мы нашли, между прочим, фамилию Панкратова, только что провезенного в Сибирь после десятилетнего заключения в Шлиссельбурге. Самые старые надписи относились ко времени лет за пятнадцать до нашего приезда. Многие надписи требовали, очевидно, целых часов работы: они были глубоко врезаны в кирпичной стене. И всюду, где бы ни стояла чья-либо фамилия, ухитрился приписать себя какой-то Пупко.

И в конце концов мы стали говорить друг другу: «Нашел Пупко», — вместо того чтобы сказать: «Нашел новую надпись». Пупко привел нас в смешливое настроение; на Сняtkова же успокоительно повлияли фамилии лиц, лично ему знакомых и одновременно с ним арестованных.

— Я точно в бездну провалился, когда вошел в эту проклятую башню. А теперь она мне стала как будто родной, — заметил он.

Внутренность башни носит следы сравнительно недавней переделки: каменные ступени лестниц стерты только с краю и то мало, есть вытяжные трубы для вентиляции и водопроводный кран. Свету мало, благодаря тому что окна наполовину заделаны кирпичами, а оставшаяся часть прикрыта частой решеткой и густой проволочной сеткой. В каждом этаже по одной камере, занимающей около трех четвертей круга. В центре круга стол, а от него по радиусам койки, изголовьем к наружной стене. Между изголовьями — столик и табуретка. Потолок давит эту довольно широкую комнату, и если заняты все десять коек, то в камере, должно быть, тесно и душно. Из окна можно наблюдать уличное движение.

При башне крошечный дворик; мы можем гулять когда угодно, от 6 часов утра до 6 вечера. Первые дни это кажется огромной льготой, но дворик так мал и пустынен, что прогулка начинает скоро приедаться.

Позволили взять в камеру кое-какие книги, но с очень придирчивым разбором: например, не пропустили сочинений Туган-Барановского. Надзиратель

любезно принес «всю наличность» (факт) тюремной «библиотеки»; в нее вошли: один ободранный том Тургенева, брошюра Бутлерова, «Гамлет», «Сарданапал», «Власть тьмы» и безыменная естественная история для юношества, изданная в 1860 году. Все-таки у нас было что читать, но к чтению не тянуло. Письма писать не стоило: они пойдут через прокурора, а московская прокуратура приобрела легендарную известность своей придирчивостью к письмам.

Разговоры попрежнему не клеились: Снятков говорил, что малейшее умственное напряжение утомляет его и портит настроение. Нужно подумать о развлечении.

— Давайте устроим кегли!

Девять спичечных коробок и комок бумаги, обшитый обрывком рубахи, — кегли готовы. В начале игры коробки падали довольно часто, но по мере нашего увлечения промахи становились еще чаще. Нами овладел какой-то дикий смех... Он подступил сразу. Снятков упал на койку, я опустился на табуретку. Мы не могли произнести ни слова. Даже звуков хохота не было слышно, только дух захватило и внутри стало больно. Я не рад был такому смеху, хотя давно чувствовалась потребность забыться, отдавшись безудержному веселому дурачеству. Припадок прошел так же быстро, как и наступил.

Мы с увлечением продолжали игру. По подсчету я оказался в значительном выигрыше. На другой день Снятков отказался играть, отрезав, по обыкновению, решительно «нет». На повторенную просьбу он ответил:

— Право, у меня ни к чему нет охоты. Признаюсь вам, я и вчера после второй партии играл через силу, без всякого интереса.

Такой ответ заставил меня просить настойчивее; казалось опасным оставлять человека при апатии.

— Это, наконец, бессовестно! — воскликнул я, показав вид, что сильно рассердился. — Неужели вам трудно ради моего удовольствия немного поработать? Хоть четверть часа!

— Четверть часа — пожалуй!

Вспомнив, как я сам серьезно вчера увлекся игрой, я подумал: не является ли причиной апатии Сняtkова слишком сильное впечатление от его неудачи в игре? Для опыта я дал ему возможность выиграть блестящую партию. Федор Федорович расцвел и продолжал игру с увлечением. Было заметно, как он волнуется каждый раз, когда мы начинаем подводить итоги игре.

Появления новых товарищей ожидаем с величайшим нетерпением.

— Хоть бы какого-нибудь Пупко! — восклицает то один из нас, то другой.

Сняtkов твердо уверен, что из Петербурга кто-нибудь придет. В день прибытия этапа он стоит с утра у окна.

— Идет этап, совсем маленький! — восклицает он наконец. — Смотрите, какой-то Пупко в шляпе.

— Нашего Пупко не повели бы пешком.

Федор Федорович признает это замечание справедливым и с грустью отходит от окна.

Уже пробило десять часов, и надежда на появление Пупко была потеряна, когда мы узнали, что сегодня приведут товарища, действительно прибывшего из Петербурга и шедшего пешком, только не в шляпе. Он по ошибке попал к уголовным. Мы, конечно, разволновались. Но часы проходили, никто не являлся.

— Мы теперь как будто не можем жить дальше без третьего товарища. А что было бы, если бы мне пришлось жить здесь без вас или вам без меня?

— Я бы опять сошел с ума, — просто и уверенно ответил Федор Федорович.

Последние дни он мало гуляет. После обеда я почти насильно вытащил его на воздух. Во дворик вошел старший надзиратель, старик Акимыч, и молодой человек с вещами.

— Товарищи! — воскликнул он.

Мы отрекомендовались и вместе вошли в камеру. Вольный художник С. после семнадцати месяцев одиночки в доме предварительного заключения высылался до приговора в Вятскую губернию. Он оидел как раз в той камере, в которой три года тому назад я оста-

вил запись о своем приговоре. Любопытное совпадение!

Первое время разговор состоял из взаимных отрывочных расспросов о личности и впечатлениях одиночки. К вечеру, однако, зашла речь и об общих вопросах литературы и политики. Но и тут разговор носил слишком беспорядочный характер. Мы не договаривали, останавливались на полуслове, перескакивали с предмета на предмет и очень плохо понимали друг друга, не смотря на общность убеждений.

— Попали из одиночки в компанию, так нужно и занятие компанейское, — решили мы и занялись кеглями.

— Мы с Федором Федоровичем почти отвыкли от человеческой речи, — заметил я, между прочим.

— А я, напротив, чувствую потребность говорить без конца, — возразил С. и замолчал.

— Что же вы не удовлетворяете своей потребности?

— Да вы огорошили меня своим заявлением.

Первые дни С. овладела полная апатия. Он пользовался всяким моментом, чтобы свалиться пластом на постель, причем даже избегал класть голову на подушку. Движения его поражали своей вялостью, голос — тоже.

Прибытие двух новых товарищей — Преображенского из Вильны и пана Славянского из Белостока — отвлекло мое внимание от С. с его апатией и вялостью. Пан Славинский, по ремеслу ткач, говорил, что и сам не знает, за что его высылают в Вятскую губернию. Кого-то он подговаривал к забастовке, кто-то требовал у него денег на бутылку водки; денег не случилось, последовал ложный донос, — что-то в этом роде. Славинский плохо говорил по-русски. Голодный, ободраный и удрученный, Славинский быстро расцвел в товарищеской компании, встретив обычную товарищескую материальную и нравственную поддержку.

Преображенский, повидимому, менее всех остальных был издерган тюрьмой. Сидел он недолго и ко всему относился так, точно его больше всего занимает новизна положения, кажется, довольно для него неожиданного. В качестве, мелкого чиновника, стоявшего влад-

ли от политической жизни, он считал себя в безопасности от полицейского нашествия и временно принял на сохранение какие-то брошюры. В результате вместо Вильны — Уфимская губерния.

Впятером мы провели не более двух-трех дней.

Однажды после обеда, растянувшись лениво на постелях, мы перекидывались отрывочными фразами. Входит старик Акимыч и ищет кого-то глазами. По лицу видно, что есть важная новость.

— Ну, господин Снятков, собирайтесь сегодня в дорогу. Идет сибирский этап.

— А я?

— О вас нет распоряжения.

Все вскочили и разом заговорили.

— Я буду просить, чтобы меня оставили до распоряжения о вашей отправке, — воскликнул Снятков. Он глядел растерянно.

— Теперь уже поздно, — возразил Акимыч. — Впрочем, как хотите, я доложу начальнику.

— Я потребую врача, — заявил Преображенский.

— Ничего из этого не выйдет, — безнадежно махнув рукой, заметил Снятков.

Я разделил это мнение и, быстро примирившись с фактом, напомнил о другой стороне дела:

— Вы, может быть, уже успеете выйти на волю, пока придет распоряжение о моей отправке.

Напоминание о воле разом изменило настроение отъезжающего. Он сказал, минуту подумав:

— Сначала я огорчился, а теперь страшно рад, что уезжаю.

Начались суетливые сборы в дорогу. Все волновались; день тянулся медленно; посторонние разговоры не клеились. Только Федор Федорович сиял. Обещали прийти за ним в шесть часов, но вот уже семь, половина восьмого. Мы сидим вокруг стола, у самовара. Когда раздался звонок, вызвавший надзирателя, мы раскупорили бутылку квасу. По приходе Акимыча все встали и разлили квас по чашкам; только Сняткову пришлось пить из баночки от варенья. Проводили его на двор, у калитки под дождем простились крепкими поцелуями. В ночной -темноте за калиткой мелькнул

в последний раз темный силуэт, и мы понуро вернулись в камеру. Нарушил молчание С.

— Был Федор Федорович, и нет его... точно нитка какая-то оборвалась... Встретимся ли на житейском море?

— Кабы выехать всем вместе, — грустно заметил Славинский.

Я поспешил уединиться на лестнице. Страшно хотелось высказать, как дорог стал мне Федор Федорович за это время короткого знакомства, но спазмы сжимали горло, и я боялся заговорить. Только когда зашла речь о какой-то совершенно посторонней мелочи, мне удалось овладеть собой.

Через несколько дней нам было объявлено о скором отъезде С, Славинского и Преображенского.

Мне предстояло остаться одному, но одиночество не пугало. Думалось, что приятно будет отдохнуть от пережитых впечатлений. С. сказал, что и сам охотно остался бы в одиночестве.

Когда мы прощались на дворе, пан Славинский поцеловал мою руку. Я на мгновение растерялся, потом ответил тем же; знал, что Славинский просто следовал польскому обычаю, и все-таки такая форма прощального приветствия сильно тронула меня. Убравши камеру, я в возбуждении стал быстро ходить по ней. Хотелось петь; в ушах звенели голоса уехавших, преимущественно характерный говор Славинского. Карманные часы, лежавшие на столике у окна, тикали на всю камеру. Мертвое молчание башни понемногу начало давить.

Прошла длинная, мучительная неделя ожидания, пока и до меня, наконец, дошла очередь.







## XV

### ПО ДОРОГЕ В СИБИРЬ. НА ВОЛЮ

Арестантские партии приводятся на вокзал за много часов до отхода поезда. Ожидают в вагонах. Если вагонов долго не подают, то приходится стоять на платформе, как и случилось на этот раз. Конвойный начальник (унтер-офицер) оказался человеком сговорчивым и разрешил мне пройти в зал третьего класса. По входе в зал первое мое движение — к газетному шкапу. Конвойный присматривал издали, и я впервые после нескольких лет увидел себя в толпе вольных людей. По размещению арестантов в вагоне двое конвойных становятся на часы у дверей, прочие располагаются как кому удобнее. На арестантов не обращают внимания, лишь бы не ушли.

Сибирский этап, по мудрому распоряжению начальства, отправляется из Москвы не через Рязань, а кружным путем, через Тулу. Всех занимал вопрос, будет ли остановка в тульской тюрьме. Оказалось, что будет и что, отъехав каких-нибудь сто восемьдесят верст от Москвы, мы должны будем томиться новым ожиданием в тесной тюрьме.

Всю партию ввели в низкую подвальную комнату. Грязно, тесно, душно. Началась процедура переключки, проверки статейных списков и казенных вещей.

— У кого на руках есть деньги — сдай! Если найдут в камере при обыске, то назад не получишь!

К столу потянулись руки с медяками и мелким серебром.

Всех, кроме меня, увели. Я вышел на лестницу.

— Пойдем! — повелительным тоном произнес старший надзиратель. Меня сразу взорвало.

— Не пойдем, а пойдемте или пожалуйте!

— Все равно...

— Вы не имеете права обращаться со мной на «ты»! Начальника сюда! Это чорт знает что такое!

— Ну-ну, довольно...

— Начальника сюда, слышишь? Иначе не сойду с места. Вы все здесь дикари какие-то, неучи. — Мой голос все возвышался. Нахал надзиратель струсил.

— Пожалуйте в камеру. Я доложу, — сказал он виновато.

Вошедши в камеру, я напомнил:

— Сейчас позовите начальника.

Через минуту вошел дежурный помощник. Я осмотрел его с ног до головы и резко спросил:

— Вы начальник?

— Он в городе. Я передам.

— У вас тут чорт знает какие безобразия: старший надзиратель обратился ко мне на «ты». Я этого не спущу. Я требую, чтобы он был подвергнут взысканию. Далее, что это за камера? Ни стола, ни табуретки, пыли на вершок, всюду клопы...

— Надзирателя я прошу извинить: у нас редко бывают политические, и он не знал, как обращаться. Лучшей камеры нет, тюрьма старая.

— Все-таки можно ее содержать чище. Как будет с обедами? Вы знаете, что мне выдаются кормовые деньгами.

— Да, из общего котла нельзя. Может быть, можно будет заказать на тюремной кухне. Обыкновенно политическим доставляют обед с воли.

— У меня здесь нет знакомых.

— Тогда придется питаться всухомятку.

— Даже если бы пришлось прожить здесь год?

Есть же, наконец, в городе кухмистерские или рестораны?

— Есть буфет в городском клубе и гостинице. Я передам начальнику.

— Попросите его ко мне, как только вернется из города.

Оставшись один, я внимательнее осмотрел большую камеру с двенадцатью койками. На окнах валялись заплесневелые куски хлеба и обглоданные кости. В углах, в ямках от гвоздей, в койках, возле печи и дверных притолок — всюду мириады клопов. Они не стесняются ни дневным светом, ни присутствием человека и уже свободно разгуливают по моим вещам. Я требую перо и бумагу и по всей форме пишу прошение начальнику тюрьмы. Описываю количество клопов, места их колоний, их смелые нравы, упоминаю о корках хлеба и костях, о грязи и пыли и в заключение говорю: «Ввиду вышеизложенного прошу сделать распоряжение о восстановлении порядка в камере и о приведении ее в надлежащий вид. Ответ прошу дать немедленно и письменно, чтобы я мог без замедления передать дело на рассмотрение высшего начальства».

Через 10 минут после подачи прошения входит старший с тремя надзирателями и четырьмя уголовными арестантами.

— Что прикажете сделать в камере?

— Вынести все лишние койки, вымыть стены, пол и окна. Обварить кипятком стены и койку. Принести стол и табуретку.

— Слушаюсь.

Работа закипела. Дошла очередь до мытья пола.

— Ефимов, дай швабру, — обратился старший к надзирателю нашего коридора.

— Моя не годится — осталась почти голая палка.

— Беги в верхний коридор, спроси там!

— Там вовсе нет швабры.

— Так сбегай на кухню!

— Кухня заперта.

— Экий ты! Ищи, где-нибудь найдешь!

На поиски за шваброй направились два надзирате-

ля и три арестанта. Общими силами им удалось исполнить поручение.

— Что у вас за безобразия — такая грязь и нет швабры? — спросил я, когда старший надзиратель вышел.

— Начальник экономит, заставляет нас покупать швабры на собственные деньги. Разве напасешься? — ответил надзиратель.

— А высшее начальство бывает в тюрьме?

— Прежде вице-губернатор следил за порядком, да он переведен. С тех пор никто не смотрит. Нам тоже служба такая, что хуже нельзя. Начальник ввел порядок, чтобы надзиратели не вели сношений с арестантами, ни у кого нет своего коридора. Каждый день бывает новое распределение. Не с кого и спрашивать. Нам тоже муки сколько — не дай бог! А жалования двенадцать рублей.

После уборки пришел сам начальник, совсем молодой поручик. Даже на расстоянии от него разило водой.

— Нужно внести еще стол и табуретку, — сказал я.

— У нас этого не полагается.

— В первый раз вижу такую тюрьму.

— А я в первый раз слышу, чтобы в тюрьмах давали столы и табуретки.

— Вы служили где-нибудь, кроме Тульской губернии?

— Нет, не служил.

— В том-то и дело. Как мне возможно устроиться с обедом?

— Как хотите.

— Вот перечень припасов, которые нужно купить. Пусть приготовят в тюремной кухне.

— У нас, кроме артельных котлов, нет посуды.

— Пусть купят на мой счет.

— У нас и готовить некому — повара умеют варить только арестантскую пищу.

— Значит, сумеют сварить простой суп.

— Это вообще неудобно. Вот что я придумал: позвоните тюремного доктора и потребуйте больничную порцию. Я предупрежу доктора.

— На это я не согласен.

— Ну, как хотите.

Я все время говорил резко, а тут обозлился еще больше.

— Есть ли, наконец, в Туле бакалейные лавки и рестораны?

— Да, вы можете посылать.

— Я желаю иметь ежедневные прогулки.

— У нас нет ни отдельного дворика для вас, ни свободного надзирателя для надзора.

— Мне до этого дела нет. Я имею право на прогулки.

— Хорошо, будете гулять после вечерней поверки.

Послал купить яиц; в ноябре их и в Туле не оказалось. Надзиратель объяснил:

— Москва... оно, конечно... в Москве все можно достать... Москва — город столичный...

Когда мы сидели в вагоне, кругом стоял шум от жалоб на порядки тульской тюрьмы.

— Десяток тюрем видел, — нигде не давали такой гадости вместо хлеба.

— Вместо мяса какая-то гнилая соленая рыба — есть нельзя.

— Два дня не могли допроситься купить молока для ребенка.

— За осьмушку махорки дерут восемьдесят копеек.

— Тула есть Тула — самый проклятый город.

На некоторое время слово «тула» (а не Тула) стало в вагоне нарицательным именем для обозначения всякой скверны. Справедливость требует отметить, что тульские конвойные ничуть не походили на тюремщиков: мягкость, предупредительность, постоянная веселость и умение поддерживать образцовый порядок делали их идеальными конвоирами, по крайней мере с точки зрения арестантов.

От Тулы до Ряжска ехали в новом арестантском вагоне с решетками на окнах. Не совсем подсохшая краска нестерпимо пахла, когда затопили железную печь. Лавочки короткие, спинки низкие. Тесно, душно и шумно.

Рядом со мною сидело четверо «обратников», то есть ссыльнопоселенцев, бежавших из Сибири и возвращаемых обратно, трое из них в кандалах. Держатся гордо, и никто не осмеливается задеть их; со мной они очень любезны; говорят литературным языком; осанка свидетельствует о физической силе, выносливости и способности постоять за себя. В то время как прочие арестанты пересыпают свою речь непечатными выражениями и грязными намеками, обратники выражаются корректно и останавливают других. У меня они ни разу ничего не попросили, а приняв предложенные папиросы, старались отплатить услугой, не унижающей достоинства.

Один из обратников, человек высокого роста, ловкий и стройный, только что вынес три года арестантских рот. Он страшно озлоблен. Рассказывает о порядках, перед которыми бледнеет режим Шалаевуской каторги, описанной Мельшиным. Вообще арестантские роты, как и дисциплинарные батальоны, славятся жестокостью своих порядков. Что может делаться в провинции, если в петербургском Литовском замке, рядом с Мариинским театром и консерваторией, беззастыдливо свисает розга и было открыто, что в розги вплетается железная проволока? По рассказу моего спутника, за три года у них в ротах умерло из двухсот пятидесяти человек сто четырнадцать. Работать заставляют по 18 часов в сутки. У нашего обратника вырвалась, между прочим, такая фраза:

— В воскресенье только и отдохнуть, а тут проклятые черти выдумали чтение с картинками. Читают разные побасенки... Бывало стоишь на чтении и спишь.

И этот человек, проклиная «просветителей», только что выравнившийся из ада, понизил голос до шопота, когда по ходу рассказа нужно было употребить не совсем цензурное выражение.

Иное впечатление производит высокий старик, остзейский уроженец, тоже обратник. Он приезжал на родину, соскучившись по семейству. В вагоне он много плясал, гремя кандалами; постоянно ссорился, особенно с конвойными, у которых составилось убеждение, что этот арестант непременно с дороги убежит. Было в этом

старике что-то лакейское и отталкивающее; вместе с тем он любил попрошайничать.

Дальше сидел старик крестьянин: из Тобольской губернии он пошел в Киев на богомолье, расстроил здоровье и, как милости, просил возвращения на родину по этапу. Он тяжело кашлял, был жалок и, несмотря на все это, не вызывал к себе симпатии.

Одна баба унимает крикливую девочку, другая хихикает и шепчется с конвойным. Становится трудно разглядеть лица в полутьме, пропитанной махорочным дымом. Конвойные оглушительно поют, стараясь перекричать друг друга в припеве:

Ай, Люба-барыня  
И Ваню ударила,  
Вдарила, врезала  
Три раза.

Голова трещит от шума и смрада.

В Ряжске смена конвоя и пересадка. Вид нового начальника конвоя, крикливого и хлопотливого фельдфебеля, не обещал спокойствия в пути до Пензы. Приняв бумаги и несколько раз пересчитав арестантов (нас было всего двадцать восемь человек), он засуетился по поводу вещей.

— Выноси, выноси скорее! Помогите! — обратился он к солдатам тульского конвоя. Только что сложили вещи между путями, как поезд двинулся для маневров. — Как же вещи? — засуетился опять фельдфебель. — Скорее! Скорее! Бросайте на тормозную площадку. Помогите!

При переходе в другой поезд он непрерывно кричал: «Пошел, пошел, пошел», — хватая при этом за рукав ближайших арестантов. Показались товарные вагоны с двумя окошечками и решетками.

— Неужели нас повезут в скотских вагонах?

— Не беспокойтесь, в скотских никто не поедет! Мы найдем для вас хорошее место.

Этот ответ рассеял мое предубеждение против суетливого фельдфебеля. И действительно, ехали отлично. Старика остзейца, по совету тульских конвойных, подвергли особенно строгому надзору.

В Пензе тот же суетливый фельдфебель отпустил меня с вокзала на извозчике с одним солдатом. Уже больше часу сидели мы в приемной комнате пензенской тюрьмы, когда с улицы послышался крик хлопотливого фельдфебеля:

— Приехали?

— Приехали.

— Ну, слава богу!

Вместо камеры меня привели в карцер с одним слуховым окошечком под самым потолком. Пришел начальник тюрьмы.

— Вам не нравится камера? К сожалению, это единственное помещение, которое мы можем предоставить вам. Тюрьма мала, арестантов куча, штат недостаточен — просто мука. Вы не поверите, у нас арестанты спят вповалку на полу в коридорах. В будущем году начнут пристраивать флигель, а пока вот бьемся, как видите. Дверь у вас будет весь день открыта — можете гулять где угодно.

Против таких речей невозможно было спорить, тем более что в тоне не было решительно ничего начальника.

При тюрьме нет ни штатного доктора, ни постоянного дежурного фельдшера. Я простудился и просил послать хоть в частную аптеку за хинином. Начальник ответил:

— Этого нельзя делать без доктора. Позвольте, вспомнил: у меня есть хинин. — Он позвал надзирателя: — Пойди ко мне на квартиру и спроси у жены синюю коробочку с порошками; она стоит на шкафчике слева.

— Но мне очень неудобно пользоваться бесплатно вашим лекарством. Вы должны взять его стоимость.

— Пустяки, завтра возьму из тюремной аптеки. Куда вы спешите? Посидите.

Этот разговор происходил в тюремной конторе.

Начальник стал спрашивать о петербургской одиночной тюрьме (Крестах): он еще не видел тюрем нового устройства. К концу своего рассказа я заметил, что пою дифирамб в честь петербургской тюрьмы: очевидно, после встречи с тульскими дикарями все, что



не Тула, стало в моих воспоминаниях окрашиваться в розовый цвет.

Пензенские надзиратели мужиковаты и грубоваты. Но это не тульская преднамеренная грубость, а грубость деревни. Я ходил по тюрьме. В одной камере на машине работают гильзы, в другой — рамки и подносы из шишек хвойных деревьев.

— Где вы-научились этому?

Начальник вызвал всех арестантов объявить, кто что умеет делать. Один бродяга потребовал шишек и научил других, как делать. Во время выставки этих рамок было продано на тысячу пятьсот рублей.

В других камерах арестанты портняжили, плели цыновки и лапти.

При отъезде из тюрьмы мне позволили взять извозчика. Конвойному велели итти сзади. Он обратился к извозчику:

— Ты не очень гони, ведь я не лошадь.

Чтобы не ехать шагом, я посадил конвойного возле себя.

Вокзал был пуст. Я читал газеты в зале второго класса, конвойный сидел тут же поодаль.

В поезде от Пензы до Самары пришлось сидеть в вагоне, отведенном для семейных арестантов. Душно и тесно, зато нет махорочного дыма; мужчин всего человек шесть. Конвойные обращаются с семейными грубее, чем с бывальыми арестантами. Непечатная брань слышится чаще, чем в мужских вагонах. Раздается детский голосок, отчетливо и громко произносящий непристойное выражение. Бабы хохочут.

Рядом со мной сидит деревенская женщина с грудным ребенком. Мужа услали в Сибирь, не дождавшись двух дней, пока семейство придет из деревни. Теперь бедная мать скитается по этапам без мужа, с четырьмя детьми, из которых старшей девочке менее десяти лет; поразительны были нежность и терпение, с которыми она ухаживала за детьми:

— Ваня! Ванечка! Роденький мой! Голубчик! Что же ты все плачешь? Не плачь, золотой мой! Что же мне с тобой делать? Перестань, голубчик.

Я еще никогда не слышал в голосе матери, ухажив-

вающей за больным ребенком, таких глубоких нот задушевной любви. Нельзя было не покориться властной силе такого чувства, невозможно было претендовать на беспокойство от детского крика. Сперва я приписал эту нежность тому, что Ваня — единственный сын. Но оказалось, что мать и с девочками обращается так же любовно. Три ночи она не спала перед выездом из Пензы и ни разу не прилегла за весь тридцатичасовой переезд до Самары. За все время — ни одного резкого слова к детям.

По другую сторону сидело семейство с двумя детьми. Одеты по-городски, бедно, но прилично; говорят на каком-то старинном языке. Подальше — рабочий с семейством, тоже ведущие себя корректно. А рядом с этими семьями совсем непринужденно держат себя женщины из деревни. От их резких голосов звон стоит в ушах. Если заговорят разом несколько, то нет сил терпеть, и конвойные ежеминутно кричат:

— Да не галдите же! Галдят — гал-гал! У меня муж хороший, у меня муж скверный! О чем тут говорить? Ведь ночь, люди хотят спать.

— Уж и говорить нельзя! Молчишь-молчишь, инда одуреешь!

— Разве я запрещаю говорить? Я приказываю только не галдеть. Правду говорят: две бабы — базар, три — ярмарка.

— Не от радости галдим. В деревню придем — там наплачемся. А теперь хоть бы на минуту забыться.

Конвойный смягчается:

— Я только того и прошу: говорите потише.

Минут пять слышится сдержанный шопот, затем возобновляется оглушительное галдение. Теперь выходит из себя другой солдат:

— Эй вы, тупорылые. Вам ли говорят — не галдите. А то в сортир посажу и наручни надену!

— Посидим и в сортире. Нам там не хлеб есть.

— Да говорят же вам: потише. Как напьются чаю, так и начнут кричать. Не дам кипятку до самой Самары. Понимаешь!

— Понимаю... и поднимаю, — острит баба.

— А понимаешь, так слушайся. Экая голосистая!

— Какая есть, не назад лезть.

Долго еще резонился конвойный, чтобы добиться на минуту сравнительной тишины.

Кокетливая женщина в красном сарафане тшетно унимала плачущего ребенка, наконец отшлепала. Плач стал громче. «Иди ко мне», — позвал я. Девочка тотчас послушалась, с жадностью выпила чай и, уже веселая, попросилась обратно к матери. Они скоро должны выйти на промежуточной станции, чтобы следовать этапом в родную деревню. Когда поезд остановился, они некоторое время постояли с вещами на площадке вагона, потом вернулись.

— Куда же мы теперь?

— Из вашей волости конвой не пришел. Поедешь в Самару, а через неделю обратно повезем в Пензу. Так и будем возить, пока не случится этапа к проходу поезда.

Женщина, видимо, обрадовалась этой проволочке: должно быть, мало хорошего ждало ее в родной деревне, и не от радости она, по выражению солдата, «галдела».

За Самарой мне случилось встретить человека, случайно арестованного за отсутствие паспорта и совершенно измученного бесконечной ездой между Уфой и Самарой «в ожидании этапа» из какой-то захолустной волости.

В Самаре на втором пути стоял в момент нашего прибытия поезд с арестантами. В одном из окон я увидел Преображенского.

«Дальше поедем вместе», — мелькнула радостная мысль.

— Сейчас переходить в другой поезд? — спрашиваю у конвойного.

— Нет, в тюрьму. Ваша партия выедет через неделю. — Это был тяжелый удар, еще сильнее раздражавший тем, что долгая остановка была совершенно лишена всякого смысла.

В сырую холодную ночь месила уличную грязь продрогшая арестантская партия, спеша добраться до тюрьмы. Стали перекликать и поодиночке впускать на грязный тюремный двор. Партия, включая и детей,

долго еще дрогла на ветру, пока исполнялись разные формальности и шла сортировка. С унтером самарской конвойной команды у меня вышла крупная перебранка вследствие оскорбления, ничем с моей стороны не вызванного.

«Здесь хуже Тулы», — подумал я.

Я попал в крохотную одиночку, впрочем чистую, со столом и табуреткой. Сна не было. На душе скверно. Чем ближе к концу, тем несноснее становится тюремный режим, а эти непонятные и порой явно бессмысленные задержки прямо выводят из себя. Зачем, в самом деле, понадобилось вести партию в Тулу? Почему не в Чернигов и не в Кострому? Сибирский этап! Почему же не идет он безостановочно в Сибирь? А это ожидание и переключка в холодную ночь на грязной улице! А этот дурак унтер! Но хуже всего возобновление одиночного заключения. В битком набитом и душном вагоне всё-таки легче чувствуется. Для меня теперь общество каких бы то ни было людей лучше одиночества. Кажется, я предпочел бы общую палату дома умалишенных. Думалось, что довольно натерпелся, и вот опять! Годы бесконечного изнывания в стенах одной и той же камеры казались счастьем без тени тревоги дальнего пути. Казалось, настал конец мучению. Я встретился с людьми, ожил и привязался к товарищам, точно к старинным своим друзьям. Минутами на вокзалах получалась полная иллюзия воли. И вот она, эта столь желанная воля, почти уже осязаемая, опять исчезла. Проклятие! Когда же конец?

Настало утро после бессонной ночи. Начальник идет! Чтобы предупредить неизбежные недоразумения и оскорбительное обращение на «ты», спешу отрекомендоваться:

— Политический пересыльный такой-то..

— Что вы говорите? Разве вы не узнаете меня? Я вас сразу узнал...

Вглядываюсь — бывший старший помощник петербургской одиночной тюрьмы. Бывало, обходя камеры, он никогда не задавал обычных глупых вопросов, а спешил сообщить какие-нибудь мелкие факты из тюремной или внешней жизни. Эти сообщения, безраз-

личные сами по себе, дают лишенному впечатлений заключенному пищу для мысли и оставляют приятное воспоминание о посещении хотя бы и тюремщика. Теперь он заговорил:

— Видите, куда я попал? Эта Самара — Азия, Содом и Гоморра! Общества нет! Грязь, грязь и грязь. А тюрьма! Видите! В Петербурге каждая пылинка на счету, а здесь стены разваливаются. На-днях ночью ограбили тюремную церковь, и ничего не найдешь. На прошлой неделе послали арестанта в полицию для удостоверения личности, а он оттуда бежал. И точно знал, что удастся бежать: обобрал здесь предварительно своего соседа по камере...

Позже я узнал, что жертвой беглеца был Снятков. Я рассказал начальнику о столкновении с конвойным унтером и спросил, куда нужно подать жалобу.

— Вы думаете чего-нибудь добиться? Бросьте! У здешней конвойной команды особые нравы. Можете представить: они разучились командовать «шагом марш» и кричат: «Айда!» Не нужно ли вам чего-нибудь?

С двух слов мы установили взаимные отношения. Дороже же всего мне было сравнительное спокойствие вследствие уверенности, что здесь не встретишь пустых и мелочных придирок и что все, на что я имею право, будет предоставлено без всякой помехи.

В Самаре нашлись знакомые. Они добились свиданий. Связь с внешним миром окрасила эту последнюю неделю одиночки.

Перед выездом из Самары никто не знал, будут ли и на сколько времени остановки в Уфе, Челябинске, Омске. Можно себе представить общую радость, когда, севши в вагоны, партия узнала, что теперь мы поедем безостановочно до Красноярска! Вольные пассажиры, вероятно, не могут себе представить, что значит провести несколько дней в переполненном вагоне, ни разу не имея возможности даже выйти на вагонную площадку, чтобы подышать свежим воздухом. Но что за беда! Лучше быстрая операция, чем хроническое мучение по тюрьмам.

Чем ближе момент выхода из этого мира, тем напряженнее ожидание, тем сильнее бьет по нервам всякая несообразность...

...Конец! Остались позади кандалы, штыки, серые шинели и арестантские полушубки. Вокруг меня люди, которые сумеют оценить и во мне человека! Я знал, что я не один, я могу двигаться, говорить без мысли о внезапном перерыве по воле какой-то внешней силы!

Случилось, что спутники замешкались на дворе; я вошел в комнату один. Вид человеческого жилища произвел потрясающее впечатление. Дикой нелепостью показались минувшие годы. Жестокость пережитого морального истязания, разделенного на миллионы частиц во времени, вдруг стала понятна во всем безобразном целом. Смешанное чувство беспредельной ненависти и какой-то полуудовлетворенной мести охватило душу. Зачем, за что было все это? И есть ли на свете мера, которая искупила бы вину мучителей? Слезы бессильной злобы — последние тюремные слезы — подступили к горлу.

Послышались шаги, веселые голоса. Прочь воспоминания! Предо мной новая жизнь! Долой бессилие!.. Стряхнуть «это» скорей, скорей!.. Нужно жить!..

Трудно и медленно вступал я в жизнь. Кругом шум и говор, а я то и дело забываю все окружающее и по тюремному начинаю ходить из угла в угол.

Я отвык обращаться с предметами обычного обихода. Ножи ломаются в моих руках, посуда летит на пол, мебель опрокидывается — нарушена способность ориентироваться в обстановке более сложной, чем тюремная камера. Точно ребенку, приходится заново привыкнуть ко многим обиходным движениям.

Чтобы читать, нужно остаться одному в комнате, а это такая мука! А если случится остаться одному, то, по странному противоречию, не является самостоятельной мысли о возможности выйти из комнаты, гулять по улице, в поле, в лесу. Инициатива убита. Меня дружески гонят из дому: идите гулять! Через четверть часа возвращаюсь: расстояние, необычность положения пугают и давят. Легче и спокойнее ходить по комнате. Бывало в одиночке ходил многими часа-

ми подряд, до полного физического и морального изнеможения. Теперь ходьба в течение одного-двух часов кажется удовлетворением необходимой потребности и доставляет удовольствие.

Не хочется браться ни за какое дело. В одиночке работал или по принуждению, или тогда, когда голова начинала трещать от пустоты и нужно было убить время. Продолжаешь смотреть на всякое занятие с тюремной точки зрения: по душевному состоянию, по настроению я в состоянии сейчас не браться за работу, чтобы уйти от самого себя, — ну и слава богу, зачем браться за дело!

Вместо того чтобы ценить время для работы, одиночка с бесцельным трудом приучила смотреть на работу только как на способ убить время, — кажется, это самый глубокий, самый вредный и наиболее трудно излечимый душевный след нескольких лет жизни в условиях, противных всем требованиям человеческой природы. Эта своеобразная болезнь накладывает свой отпечаток на все поведение, на всю последующую жизнь.



---

## СОДЕРЖАНИЕ

М. С. Ольминский . . . . .	3
I. Первые впечатления . . . . .	9
II. Мечты. Тюремная работа . . . . .	21
III. Тайна черного дыхания . . . . .	32
IV. Своя работа. Облегчение режима. Газета. Книга. О надзирателях. Свидания . . . . .	40
V. Воспоминания. Белые ночи . . . . .	53
VI. «Слабые» и слабоумные. Неудачное цветоводство. Половина срока . . . . .	63
VII. Голуби и воробьи. Отошел от жизни . . . . .	75
VIII. Думы о ссылке. Последний год . . . . .	87
IX. Поездка в сыскное. Бессознательное ожидание . . . . .	94
X. Майские волнения . . . . .	104
XI. Товарищи. Церковные «беседы» . . . . .	111
XII. Проводы. Пересыльная тюрьма . . . . .	119
XIII. Конец одиночке . . . . .	136
XIV В Бутырках . . . . .	145
XV. По дороге в Сибирь. На волю . . . . .	152

---



Редактор *З. Коновалова*  
Художник *Н. Зикеев*  
Худож. редактор *Н. Коробейников*  
Техн. редактор *М. Терюшин*

---

А00012 РVP Подп. к печ. 11/1 1956 г.  
Бумага  $84 \times 108^{1/32} = 2,625$  бум. л. = 8,61  
печ. л. + 1 вкл. Уч.-изд. л. 7,85.  
Тираж 100 000 Цена 1р. 95 к.  
Заказ 2403

---

Типография «Красное знамя»  
изд-ва «Молодая гвардия».  
Москва, А-55, Сушевская, 21